

# ГРАНИ

GRANI

141

1986

---

Verlagsort: Frankfurt/M., Juli-September

## **ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»**

**к литературной молодежи, к писателям  
и поэтам, к деятелям культуры  
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность опубликовать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15,  
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

**За свободное Творчество! За свободную Россию!**

**Издательство «ПОСЕВ»**



**Журнал основан в 1946 году**  
**Основатель журнала Е. Р. Романов**

**Редактировали:**

**1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов**

**1947 – 1952 Е. Р. Романов**

**1952 – 1955 Л. Д. Ржевский**

**1955 – 1961 Е. Р. Романов**

**1962 – 1982 Н. Б. Тарасова**

**1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч**

**1984 – 1986 Г. Н. Владимов**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год ХLI

№ 141

1986

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КОРМЕР. Наследство (главы из романа) Памяти Ольги АНСТЕЙ	5
С предисловием Вольфганга КАЗАКА	64
Ольга СЕДАКОВА. Стихи	69

### СОВРЕМЕННЫЕ ОЧЕРКИ

Михаил ХЕЙФЕЦ. Путешествие из Дубровлага в Ермак	73
---	----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Владислав КРАСНОВ. Воскрешение Столыпина	154
Андрей КОРЖИНСКИЙ. Страсти по Мастеру	186

### ИСТОРИЯ

Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Брестский мир	203
----------------------------------	-----

### "ГРАНЯМ" — 40 ЛЕТ

Вступая в пятое десятилетие	252
Интервью с основателем журнала Е.Р. РОМАНОВЫМ	256

### БИБЛИОГРАФИЯ

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ. Жизнь и судьба Василия Гроссмана	284
Сергей ГОЛЛЕРБАХ. Скульптор духовного синтеза	288

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

© 1986 by Possev-Verlag  
V. Gorachek KG, Frankfurt am Main  
Издательство «П о с е в»

## Наследство

Главы из романа

*Сложный и многоплановый роман московского писателя Владимира Кормера "Наследство" был написан тридцатипятилетним автором еще в 1975 году и тогда же попал на Запад, но по ряду обстоятельств не был опубликован. Возможно, издателей шокировала слишком острая на их взгляд критика Кормером диссидентства. Премию Даля получила следующая повесть писателя "Крот Истории", напечатанная в ИМЖЕ-ПРЕСС в 1979 году.*

*Фрагмент из романа "Наследство" — "Возвращение" — о возвращении в Москву советского агента-евразийца Проровнера опубликован в Литературном приложении № 2 к газете "Русская мысль" (от 27 декабря 1985).*

*Мы предлагаем вниманию читателей еще три главы "Наследства". Действие первых двух происходит в Европе, в эмиграции, в начале 30-х, третьей -- в Москве начала 70-х годов.*

*Публикуется без ведома автора.*

## XVII. ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

Анна, увязавшись провожать Муравьева, всю дорогу участливо заглядывала ему в глаза и, держа под руку, дружески похлопывала по кисти руки:

— Возвращайтесь скорее и ни о чем не тревожьтесь.

— Какая странная все-таки штука с этим катерининым отъездом к советским, — неловко проговорил он.

— Да, да, — поспешно отозвалась Анна. — Очень странная. Зачем ей все это понадобилось?

— Непонятно, что она будет делать в России... Кроме того, не могла же она вообразить, что я оставлю ее с ребенком без средств. А как я смогу помочь ей там, я не очень себе представляю. Как все это устроить, ума не приложу... Ну да ничего, в Лондоне мне подскажут...

Они немного помолчали еще; вернее, молчал Муравьев, а Анна время от времени приговаривала: непонятно, непонятно, но ничего более осмысленного придумать не могла.

Муравьев спросил:

— А ее не могло что-нибудь здесь испугать? Мне кажется, она чем-то напугана... Может быть, ее вовлекли в какое-то дело, обманули?

— Скорее, уж тогда она обманула их, — живо возразила Анна и быстро-быстро начала тараторить.

— Эльза ведь, по-моему, не ожидала, что она уедет. Нет, нет, здесь ее собственное упрямство. Упрямство, одно упрямство. Вы-то знаете, как она упряма. Увлекающаяся натура. Вы, конечно, правы, — они разожгли ее. А уж дальше она полетела сама. Она вся ведь в этом.

Муравьев не успокоился:

— Анна, а что, как вы думаете, Катерина едет просто так, ей не давали никаких поручений? Странно, если б о н и этим не захотели воспользоваться. Беременная женщина — это удобная "легенда", так это, кажется, называется?

Анна взглянула на него с интересом:

— Вы уж хотите на нее всех собак навесить.

— А чем э т и лучше собак?

Анна, закинув голову, рассмеялась:

— Что же они, дураки, по-вашему, что ли? Не видели, с кем имеют дело? А у вас тоже нервишки разыгрались. Плохо, плохо, Дмитрий Николаевич. Вам надо бы отдохнуть.

— Подождите, — досадливо прервал он. — А почему тогда Катерина последнее время избегала меня?

Анна фыркнула, но Муравьев не разобрал, что это значит.

— А чем вы удивлены? — насмешливо спросила она. — Вы разве не знаете?

— Что я должен знать?

— Вы что не знаете, что это вас здесь считают за шпиона?

— Меня? Час от часу не легче! — изумленно вскинулся Муравьев.

— Кого же еще? Они здесь все на этой почве взбесились. Говорят, что вы английский шпион.

— Английский?

— Ну да.

— А почему английский?

— Я откуда знаю, почему. Говорят, что знают точно, что очень будто бы похоже. Говорят, что Англия не хочет все это дело выпускать из своих рук, из-под контроля. Эх, сболтнула я, дура! — захохотала она. — Вы меня не выдавайте. Смотрите, а то и меня вместе с вами. Я на вас надеюсь.

— Эх, вот до чего меня мое англоманство довело! — с трудом пошутил Муравьев, так и не понимая, разыгрывает она его или нет.

— А вы думали как?! Сами на себя со стороны посмотрите. Бродите здесь один, как волк, только людей смущаете. Деньги у вас есть, так почему не уезжаете?! Вы же богач, а они нищие. Что вам здесь делать? Не можете сказать? Вот то-то и оно... Эх, Дмитрий Николаевич, — она снова поглядела на него, уже сочувственно, неожиданно остановилась и вдруг чмокнула в щеку. — Мильй Дмитрий Николаевич. Это шутка, шутка, не более чем шутка. Простите дуру... Вы только не сердитесь, — стала тормозить она его, видя, что он все-таки огорчен. — Впрочем, я действительно такую версию слышала. Но вы не придавайте этому значения. Надо же людям чем-то заниматься. Им нужна пища для ума. С этим ничего не поделаешь. Ах, если б вы знали, как они мне все надоели! Когда стали сюда в наш городок приезжать соотечественники, я так радовалась, я так скучала без них. Я думала, какая теперь начнется веселая жизнь. Свои, землячки!.. А что вышло? Теперь я только и думаю: черт бы их всех унес! Ведь шагу нельзя ступить! Жить невозможно!

Она долго еще поносила их — всех сообща и каждого порознь, сделав исключение только для Муравьева и Наташи Вельде. Муравьев не перебивал ее, потом упрямо спросил:

— Ну, хорошо, а все-таки, что за история с Катериной? Чего они могли хотеть от нее?

— По-моему, единственно, чего они могли добиваться, так это обчистить вас! — категорично сказала Анна. — Ну, а Катя все-таки порядочный в некотором отношении человек, ее это возмутило. Она решила пойти им наперекор, и им... и вам... Тем более, что... — Анна спохватилась, страдальчески вздернула брови, и замолчала; Муравьев только по виду ее догадался: вероятно, она хотела сказать, что ребенок просто-напросто не его.

Следующую неделю Муравьев провел в Англии. Дети его жили теперь порознь. Дочь, бросив университет, где она занималась на филологическом отделении, жила в Лондоне, сын доучивался в Оксфорде. Муравьев ехал с тайной мыслью подготовить свой переезд в Лондон, однако план этот был нереален.

Дочь его давно слыла "красной". Муравьев никогда не верил этому, но войдя в ее лондонскую квартиру, еще до того, как пришли приятели дочери, понял, что люди говорили о ней правду.

В квартире все стояло вверх дном. Вещи были выдвинуты на середину комнат, диван, на котором спала дочь, со скомканным одеялом и простынями стоял неубранный, повсюду валялись какие-то женские тряпки, кофты, одежды, головные платки вперемежку с книгами и пластинками. Обои были засалены и оборваны, занавески на окнах давно не стирались, в кухне их вовсе не было.

Дочь с подружкой лежали на диване среди развала, слушали граммофон и читали книгу какого-то Нейберга "Вооруженное восстание", изданную в

Швейцарии. Потом явились приятели (или соратники?) дочери — трое запущенных молодых людей, англичанин, еврей и русский. Последний тут же удалился в другую комнату, прихватив с собой пишущую машинку, как оказалось, действующую, и там лихорадочно печатал, выходя только для того, чтобы прикурить сигарету. Остальные долго, детально обсуждали этого самого Нейберга, снисходительно пояснив Муравьеву, что Нейберг — псевдоним, а на самом деле книга написана военным отделом Коминтерна (Тухачевский, Пятницкий, Хо Ши Мин, Волленберг и др.), как учебное пособие к грядущим боям. К вечеру пришло еще человек десять. Муравьев от табачного дыма, алкоголя, а более — от всей обстановки, не оставлявшей ему никакой надежды, чувствовал себя нехорошо и ушел, сославшись на усталость после дороги.

На другой день приехал сын, но свидание с ним тоже не принесло особой радости. Внешне, правда, все выглядело гораздо благопристойней за исключением того, что у сына в это время разворачивался бурный роман с юной леди; сын приехал не один, и будучи вынужден пробыть два дня с отцом, или и с отцом и с нею, постоянно обнаруживал нетерпение, желая поскорее остаться со своей подругой наедине. Муравьеву-старшему юная леди показалась чересчур жеманной, крохотного росточка и не слишком хороша собой. Он не одобрил сыновьего выбора; нетерпение, которого сын не умел скрыть, раздражало его и, находясь под впечатлением увиденного у дочери, он опасался, что и здесь, у сына, за этим на первый взгляд невинным нетерпением может таиться какая-нибудь каверза.

Проводив сына и юную леди обратно до Оксфорда, Муравьев навестил там университетское

начальство и некоторых полужнакомых ему ученых лиц, которым писал еще раньше из N. о своем желании преподавать в каком-нибудь английском университете. К его удивлению, предложения были встречены почти всеми благожелательно, ему обещали место или обещали поговорить и разузнать, но подчеркнули, что раньше лета найти вакансию будет чрезвычайно трудно. Он не знал, что так отвечают просителям почти всегда, и даже спросил себя: зачем, собственно, ему так уж нужно читать кому-нибудь лекции...

На обратном пути не миновать было Муравьеву Парижа. И хотя делать там было особенно нечего — малозначительные свидания, сидение в кафе за газетой и даже, зачем-то, одинокая прогулка в Версаль — Муравьев со дня на день откладывал посещение своих старых партийных друзей и вообще людей, которых знал по России, хотя слух о его приезде уже распространился, и многие хотели бы его разыскать... Лишь в один из последних дней, когда откладывать встречу далее стало уже нельзя, Муравьев отправился в редакцию своего партийного ежемесячника, — представлявшую собой нечто вроде проходного двора или клуба, там вечно толкалась масса народа, зашедшего без всякого дела, только чтобы узнать новости, и там легче всего было встретить сразу почти всех, кто был ему нужен, не отдавая никому предпочтения и не тратя времени на долгие персональные рандеву.

В журнале этом много лет назад Муравьев принимал самое деятельное участие, считался даже, или, по крайней мере, считал себя сам, одним из его основателей и долго был членом редакционного

совета. Журнал начинался когда-то как единственный в России общественно-политический орган подлинно демократического направления, выступавший против безответственности охранителей-консерваторов, с одной стороны, и мечтающих о захвате власти заговорщиков-революционеров, с другой; против правого и левого экстремизма; за политику постепенных, но глубоких освободительных преобразований в экономике, в области просвещения, в организации государственного управления, за политику социальных реформ, основанную на добровольном содружестве всех общественных классов, на разумном и нравственном подходе к решению возникающих перед страной проблем. В былые годы эта программа пользовалась известной популярностью, и журналу удавалось достичь некоторого влияния. Еще и теперь находились почитатели, которые говорили, что журнал "всегда был оплотом", и что теперь это — "последний оплот", и что "кроме журнала нет никого, кто отстаивал бы..." и тому подобное. Журнал традиционно гордился этой своею маркой, то есть тем, что он — оплот, и что он — отстаивает, но, к сожалению, это все больше и больше переставало быть похожим на правду. Правда же заключалась в том, что журнал теперь едва тлел, все последние годы он был перед угрозой банкротства, различные фонды и частные лица все чаще отказывали ему в субсидиях, прежние его читатели частью были уничтожены войной и революцией, а частью остались в России, ряды нынешних подписчиков, задавленных эмигрантской нуждой, год от году редели, теоретический и профессионально-журналистский уровень публикуемых материалов все время снижался, несмотря на то, что выпуская номер или организовывая статью, теперь затрачивали вдвое

или втрое энергии и изобретательности больше, чем прежде. Редакцию лихорадило, сотрудники нервничали, и главный редактор, бессменно оставшийся на этом посту со дня основания журнала, измученный каторжно тяжелым своим трудом, много болел. Но хуже всего было то, что ни в редакционном совете, ни в аппарате редакции никто давно не верил, что журнал действительно оплот и отстаивает что-то там такое; правильнее сказать, не верил, будто это что-то действительно нужно отстаивать и быть ему оплотом. На знамени, как и раньше, были написаны слова о разумном и нравственном подходе, о политике глубоких освободительных преобразований, журнал как и раньше выступал против безответственного экстремизма справа и слева, печатал статьи с научным анализом случившегося в России и с анализом нынешней мировой ситуации, но все это было — что знали и сами выпускавшие журнал — смехотворно, ибо безжизненно. Потому что давно уже не к чему было прикладывать политику освободительных преобразований, и не к кому было обратиться призывы о добровольном терпеливом содружестве общественных классов, и давно уже добивался успеха лишь один экстремизм, справа или слева, но вовсе уж никак не мудрый государственный или гражданственный высокоморальный подход. Чтобы спасти журнал, поддержать тираж и получить возможность маневра, следовало пойти на союз с более или менее приемлемыми умеренными элементами из тех самых, кого журнал называл экстремистами, выработать с ними какую-то общую платформу; такие предложения неоднократно делались и справа и слева. На какие-то контакты в журнале, за последние годы особенно, и впрямь, согласились, но от слишком далеко идущих шагов упрямо отказывались, отри-

чая авантюры и предпочитая погибнуть, не предав своей смешной и нежизненной принципиальной линии. Быть может, эта героическая позиция и привлекала еще к журналу людей, по крайней мере — в его прокуренную прихожую, где все разговоры начинались обычно с выражения сочувствия и вопросов о тираже.

Войдя в эту полутемную без окон прихожую, Муравьев увидел, что за полтора года, пока он здесь не был, таких любителей посмотреть на агонию больного организма значительно поубавилось — верно, зрелище стало приедаться. На старом кожаном истертом диване с нелепой высоченной спинкой, на другом диванчике поменьше и в двух креслах, с виду удобных, но продавленных настолько, что севши в них, человек падал чуть не до пола, приглушенно беседовали только четверо. Трое из них были в пальто и, следовательно, не принадлежали к числу работников журнала, четвертый, явно здешний, был запросто в жилете и рубаше с закатанными рукавами. Как раз, когда Муравьев вошел, один из них, худой с аскетическим лицом, изрезанным глубокими морщинами, человек, колени которого торчали из продавленного кресла вровень с иссушенной головой, спрашивал у остальных: "Ну что, господа, плохо дело?" — и в голосе его звучала странная надежда. Муравьев не знал из них никого, но они, скорей всего, узнали его и, приподнявшись с мест, неопределенно кланяясь ему, проводили изумленными загоревшимися взглядами; однако не успел еще Муравьев пройти, как выражение это сменилось выражением глубокого понимания. Поворачивая направо к секретариату редакции, Муравьев краем глаза увидел, как они в полутьме многозначительно и согласно кивают друг другу.

В секретариате, обложенная как обычно выше головы листами верстки, машинописи, бухгалтерскими ведомостями, поспешно строчила что-то, согнувшись, боком у сдвинутой куда-то в сторону пишущей машинки, заведующая редакцией — маленькая седенькая старушка с аккуратно завитою головкою. Она работала в журнале, как и главный редактор, с самого первого дня его существования, в революцию вместе с журналом перебралась в Крым, затем в эмиграцию, и сколько помнил Муравьев, и в Петербурге, и в Крыму, и в Париже она была все такой же, маленькой и седенькой, аккуратно завитою, и всюду, в любое время, с раннего утра до позднего вечера, пребывала в состоянии крайней, лихорадочной спешки, боком у пишущей машинки, печатая, правя, подсчитывая знаки в строке или накладные расходы. На ней держался весь журнал, вся техническая сторона дела, она безропотно делала и свою и чужую работу, работала и за корректора и за технического редактора, расплачивалась с сотрудниками, авторами, с типографией, руководила наймом и ремонтом помещений, и все знали, что если даже журнал не развалится от иных причин, он все равно не сможет выходить, когда старушка уйдет на покой. Возможно, чувствуя это и сознавая свою миссию, она тянула изо всех сил, хотя ей было уже за семьдесят (Муравьев помнил, что в прошлый или позапрошлый его приезд в редакции праздновали ее семидесятилетие), — у нее была психология старого и верного крепостного слуги... Сейчас она сидела в комнате одна, время было обеденное, но она вообще никогда не уходила обедать и питалась бутербродами, взятыми с собою из дому, или пирожными, которые приносили ей сердобольные редакционные дамы, курьер и литературный редактор.

Она встретила Муравьева по старой памяти тепло, но была чуть-чуть встревожена его появлением. Пока она расспрашивала Муравьева о его жите-бытье, о детях, о Германии, в комнату стали как бы невзначай заходить сотрудники. Муравьеву ближе всех были здесь двое — маленький лысый толстячок Матвеев, добрый и неглупый, с которым они даже писали однажды, лет десять тому назад, статью о природе революции; и второй — бывший муравьевский ученик на историческом факультете, подававший когда-то большие надежды, Енютин — теперь старый и обрюзгший, замороженный двумя, если не ввали, семьями, которые тянулись за ним еще от самой России. Оба поспешили увести Муравьева в укромное место, чтобы рассказать новости.

— А наш-то, вы знаете, опять болен, — успела сказать старушка, имея в виду главного редактора. — Опять был сердечный приступ. Да какой сильный. Ну, да они вам все расскажут, — безнадежно добавила она (безнадежно от уверенности, что эти двое сейчас выдадут постороннему, в сущности, человеку все редакционные тайны), и, подергивая головой, погрузилась опять в свои бумаги.

Уведя Муравьева в укромный, обитый по стенам и потолку материей загончик редакционной машинистки и усадив на пустовавший ее стул с плоской подушечкой (машинистка сегодня была выходная), они сели против него, один на стол, другой в продавленное кресло (целых кресел в редакции, кажется, отроду не бывало) — и придали своим лицам печальное и строгое выражение, приличествующее разговору о погибающем, затравленном издании. Впрочем, у бывшего ученика в выражении про-скальзывало еще и что-то такое, отчего Муравьев

вдруг хорошо вспомнил, как тот выглядел в своей студенческой тужурке в университетские годы.

Посидев немного с постной миной, толстяк Матвеев в силу природного жизнелюбия сказал, что надо надеяться на лучшее, хотя все очень трудно, а сам он только что похоронил мать, и брат его находится в психиатрической лечебнице. "Я страшно измотался за последнее время", — поведал он, благодушно улыбаясь и сияя румянцем гладких щек. Муравьев знал, что это один из самых добросовестных людей в журнале, а то и вообще на свете, и ему можно верить. Но бывшему ученику показалось, что толстяк самым видом своим все равно дает слишком упрощенное представление о разыгрывающейся здесь трагедии.

— Я все-таки не понимаю, каковы основания хоть для малейшего оптимизма, — проскрежетал он. — Главный редактор лежит в клинике и вряд ли оттуда выйдет.

— Почему, почему? — в отчаянии заломил руки добрый толстяк.

— Ты сам это знаешь не хуже меня. Редакция в руках негодяя.

Толстяк опять попытался протестовать.

— Ты знаешь это не хуже меня, — отрезал другой, — взглянув на него с той ненавистью, какая бывает вызвана только различием идеологий. — Ну хорошо, скажем не негодяя, а человека... сомнительного... Слушайте, господа, — вдруг тихо сказал он и взгляд его сделался мечтательным, — а может мы сейчас пройдем на "уголок"? И поговорим там обо всем? — (Муравьев помнил, что на уголке помещалось кафе, где часто коротали время работники журнала) — Нет? А жаль, — вздохнул он и его лицо стало безвольным.

Негодяем и сомнительным человеком называл он

руководившего журналом в отсутствие главного редактора его заместителя. Муравьев немного знал его. Тот был, так сказать, интеллигентом в первом поколении, из деревни, чудом выучившийся и окончивший незадолго перед войной университет в Саратове. Он был не без способностей, трудолюбив, упорно образовал себя и обладал, как не раз убеждался Муравьев, еще каким-то врожденным пониманием проблем, доступных лишь изошренным, отягощенным культурой умам. Это был тип русского американца, то есть человек с неизвестно откуда взявшейся деловитостью, любовью к хорошо сработанной вещи, будь то железнодорожный мост, стол, журнальная статья или политическая интрига, и отвращением к тому, что называется русской халтурой и разгильдяйством. Еще перед войной он начал делать быструю карьеру в Министерстве просвещения, занимаясь вместе с тем и общественной деятельностью, и уже тогда злые языки поговаривали, что его участие в прогрессивном демократическом движении вызвано единственно желанием нажить себе политический капитал, а не настоящей приверженностью свободлюбивым идеалам. Уверяли, что он якшается с отпетыми реакционерами и черносотенцами, и чуть ли не с тайной полицией, и что если бы только ему это было выгодно, он сам немедленно стал бы реакционером. После войны, в эмиграции, это мнение о нем продолжало держаться.

Разговор на минуту был прерван — в комнату вошел тот самый аскет из коридора, так и не снявший пальто. Обведя всех несоответствовавшим его суровому виду жалостливым собачьим взглядом, он почтительно поздоровался с Муравьевым и снова спросил со своей странной надеждой:

— Ну, что, братцы, плохо дело?

— Вот, он сейчас подтвердит! — тотчас же вострепнулся обличитель. — Скажи, ведь правда же это человек сомнительный!

Но аскет, севши чуть не с ногами на стол, только прикрыл глаза, по-детски обнял худые свои колени и ханжески простонал:

— Не знаю, я ничего не знаю. Кто бы мне все объяснил. Вы, Муравьев, не можете, а?

Раздосадованный этим разнообразием в своем же кругу, от возбуждения покраснев, бывший ученик продолжал настаивать, что тот, о ком они сейчас говорили, — все-таки не просто сомнительный человек, а настоящая сволочь, что ему нужна только власть, пусть даже самая маленькая, что, придя к власти в журнале, он немедленно заключит союз с самыми оголтелыми врагами журнала, потому что журнал сам по себе и то, за что журнал всю жизнь борется, — нисколько не интересуют его, журнал для него — только трамплин, только ступенька, он использует журнал и забудет о нем. (Муравьев только сейчас заметил, что бывший ученик его с утра уже немного навеселе).

— Он нас предаст, помяните мое слово. Но тогда уже будет поздно. Мы должны сплотиться. Должны сказать свое слово. С нашим главным мы привыкли, что играем в одну игру, теперь мы должны понять, что с новым руководством у нас разные линии. Это надо показать ему сразу же! Это страшный человек, поймите! — Внезапно он остановился: чудовищное подозрение охватило его, расширенными, пьяноватыми глазами он впился в лицо Муравьева. — Позвольте, — задохнулся он. — А вы, вы зачем приехали? Это он вас вызвал! Нет? Скажите правду, почему вы не хотите сказать нам правду?

Добрый толстяк, совершенно сконфуженный та-

ким поведением, бросился его успокаивать. Аскет сидел, обняв колени, покачиваясь, с задумчивым просветленным лицом. К счастью, в это время, открыв дверь, седенькая старушка с тревогой сообщила, что "он пришел" и ждет Муравьева. Сокрушенный своим прогрессистским горем, бывший ученик почти лежал, уронив голову на подлокотник продавленного кресла.

"Страшный человек", фамилия ему была Попов, встретил Муравьева еще в коридоре. У него был вид расторопного маленького деревенского печника, и при этом — пышные, вьющиеся кудри, теперь уже с проседью, зачесанные на косой пробор, и сердечная тихая повадка в обращении, какая бывает только у старых царедворцев или людей, долго проработавших в партийном аппарате. Муравьев не испытывал к нему особого недоверия: ему казалось, что — карьерист этот человек или нет — он все равно слишком любит хорошо сработанную вещь и слишком много понимает, так что эта любовь и это понимание, в конечном счете, всегда пересиливают у него любые другие чувства, зачастую вовсе не принося ему никакой выгоды. Муравьеву казалось также, что тот должен как-то ощущать это, муравьевское, к нему отношение, должен видеть, что Муравьев может оказать ему поддержку. Действительно, Попов был как будто рад гостю. Мягко улыбаясь, он внимательно слушал о Германии, об университетских немцах, рассказать о которых Муравьев счел необходимым, прежде чем перейти к разговору о своих, русских. Скоро Муравьев однако заметил, что слушатель чем-то обеспокоен, что, более того, его беспокойство все возрастает. В какой-то момент Муравьев даже подумал, что Попов его не слышит, но нет, — тот не упускал, по-видимому, ничего, переспрашивал, кстати смеял-

ся. И в то же время что-то не переставало волновать его, хотя он внешне старался не обнаружить этого, от напряжения лицо его деревянело, и — телепатически — за стеной в проходной комнате перед кабинетом все увеличивалось, вероятно, волнение седенькой старушки, которая уже дважды заглядывала к ним в немом испуге.

— Националистические партии, русские эмигрантские или германские, — говорил Муравьев, — по моему глубокому убеждению имеют и могут иметь только одну единственную цель: постепенно подавляя оппозиционные демократические силы, бесчестя их, играя на их противоречиях, подготовить Европу, и прежде всего Германию, к предстоящей войне. Их деятельность, их пропаганда не может иметь никакой другой цели, никакого другого смысла и оправдания. Они без колебаний взяли на себя право принести в жертву идеалы свободы, справедливости, они готовы даже на преступления, и все это во имя одной цели — во имя необходимости воспитать народ, молодое поколение для войны. Как только отпала бы идея войны, так сразу же вся их философия оказалась бы совершенно бессмысленной и никому не нужной...

Говоря это, Муравьев вдруг понял, что примерно происходит с Поповым: у него, на самом деле, — как и уверяли журнальные либералы, — должно быть, были далеко идущие планы заключения соглашений с самыми различными движениями и группами, в том числе и с теми, на которых нападал сейчас Муравьев, и он не мог сообразить каким образом отразится приезд Муравьева на его политике, хорошо это или плохо, как это будет воспринято теми или другими, и сейчас лихорадочно просчитывал все возможные варианты.

— Так вот, — сказал Муравьев. — Я хочу написать

об этом для вас статью. Может быть, даже серию статей. — Как и в памятном разговоре с отцом Иваном\*, до этой минуты Муравьев вовсе не помышлял ни о чем подобном, слова о статье или даже о серии статей вырвались у него почти непроизвольно, сами собой, но сразу же ему стало казаться, что это, и правда, неплохая мысль, и что он давно подспудно вынашивал ее.

— Отлично, отлично, — прошептал Попов. Лицо его было уже не деревянным, а точно перехвачено кататоническим спазмом.

Седенькая старушка тотчас же снова заглянула в кабинет с таким выражением, как будто спрашивала: не пора ли уже вызвать полицию.

— Вы собираетесь писать только о русских группировках или дадите обзор по всем странам? — едва слышно поинтересовался Попов. — У вас уже есть материал?

Муравьев с неудовольствием признался, что материала у него еще нет.

— Ах нет? — Попов наморщил лоб, еще приглядываясь к Муравьеву: говорит тот правду или шутит. Затем облегченно откинулся в кресле и, кажется, готов был рассмеяться. У него был вид человека, избегшего ловушки.

Он, и впрямь, всю неделю с тех пор, что его известили о приезде Муравьева, мучился кошмарной загадкой, зачем и с чем тот явился, в какой мере появление этой некогда значительной персоны может повлиять на развитие событий в журнале и вокруг журнала, и теперь, убедившись, что Муравьев приехал ни с чем, что за ним, по-видимому, не стоят никакие к р у г и, от всего сердца потешался над самим собой, над своими страхами, и

---

\* Священник Иван Кузнецов — один из персонажей романа "Наследство". — Прим. ред.

презирал Муравьева, как только может презирать труженик-профессионал прекраснодушного дилетанта-любителя. Неразрешенным у него оставалось еще лишь одно подозрение: он побаивался, что тяжело заболевший главный редактор мог тайно вызвать Муравьева с тем, чтобы попытаться помешать ему, Попову, занять редакторское место. Ему следовало, таким образом, ни в коем случае не допустить Муравьева до свидания с главным наедине. Ему передавали, что свидания этого еще не было, и это не успокаивало, а наоборот настораживало его.

— Конечно, пишите, пишите, такая статья нам очень нужна, — ободрил он, в первое мгновение почти не заботясь о том, чтобы скрыть свои чувства. — То, что вы рассказали, — в следующую минуту, взяв себя в руки, ласково обратился он к Муравьеву, — очень интересно. Пойдемте завтра навестим нашего главного, расскажем ему то же. Старик будет рад, что вы приехали не с пустыми руками, а с ... идеями, — сказал он, и в глазах его мелькнула такая усмешка, что Муравьев даже удивился и подумал, что, конечно, совсем не знает, как много чертей в этом человеке.

## ХІХ. БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Они договорились идти в больницу, где лежал главный, на другой день после обеда, и если Муравьев, проснувшись наутро, решил отправиться туда тотчас же, один, обманув Попова, то не потому, что так подсказывал ему его растревоженный политический инстинкт, но скорее из-за того, что исходивший от Попова американо-крестьянский

дух, дух неумного функционерства, показался ему наутро особенно тяжел; Муравьеву захотелось просто посидеть и поболтать со старым товарищем, не делать дела, и, может быть, даже не заикаться ни о какой статье, а вспомнить старое, старых знакомых — с человеком примерно одного с ним возраста и круга, способным с полслова понять столько, сколько Попову, при всем его уме, все-таки ни за что не понять. Правда, Муравьев никогда не был особенно близок с редактором Кондаковым, — с ним было довольно трудно быть близким, — но сейчас Муравьеву верилось, что тот всегда вызывал в нем искреннюю симпатию, и оттого что Кондаков был теперь в трудном положении, эти теплые чувства к нему у Муравьева еще возростали.

Кондаков лежал в отдельной палате маленькой чистой больницы, которую курировала какая-то религиозная организация. Это был крупноголовый и крупнотелый шестидесятилетний мужчина, абсолютно седой, с довольно еще не старым, живым, располагавшим к себе лицом. Он поседел и растолстел еще в сорок лет, сразу же, от неправильного обмена веществ или от сердца, и все давно привыкли видеть его седым и толстым, но сейчас Муравьеву показалось, что за последние полтора года этот человек успел сначала осунуться, обрюзгнуть, а теперь загово не растолстел, а совсем уже нездорово распух, и серые глаза его, окруженные синевой, источали невыразимую тоску, забивавшую их природную живость. Несколько дней назад он оправился от приступа стенокардии, но сердце его было испорчено уже безвозвратно, и очевидный для Муравьева недосмотр врачей грозил нынче опять поставить его на грань катастрофы.

Недосмотр заключался в том, что, уступая настойчивым просьбам больного, не зная его как

следует, не вняв его единственной родственнице, двоюродной сестре, которая обязательно должна была уговаривать их не делать этого, врачи разрешили ему читать газеты и слушать радио. После долгого перерыва, с непривычки, — думал Муравьев, — это занятие может вышибить из колеи и здорового. Кондаков же, не будучи, так сказать, чувствителен к состоянию мирового целого вообще, которое столь нелепо открывается сегодня в бездушных газетных сообщениях — был одновременно политик до мозга костей, настоящий политический гений, человек, живший только политикой и ради политики, ощущавший напряжение мирового политического пульса всем своим существом. Во всем мире не могло произойти такого события (кроме, разумеется, наводнений и землетрясений), о котором Кондакову не было бы заранее известно, не совершалось такого государственного переворота, подноготной которого он бы не знал, не было такого политического деятеля, биография которого со всеми ее темными и тайными изгибами, не была бы ему знакома. У него была необыкновенная языковая одаренность, он читал газеты чуть не на всех языках мира, включая китайский, который освоил уже в зрелом возрасте, и, обладая великолепной памятью, помнил все за все годы, с тех самых пор, как впервые, одиннадцати лет отроду, открыл газету. Не менее хорошо ориентировался он и в истории любого государства, имел понятие об их экономике, о залежах полезных ископаемых, о живших на окраинах полузабытых пригнетаемых племенах. Он мог бы с полным на то правом быть внушительной фигурой в любой из этих держав, занимая самые верхние ступеньки в государственной иерархии, — будь это республика, консти-

туционная монархия или тоталитарная диктатура, и не существовало такой политической программы, изъянов которой он бы не видел, такой комбинации, которую он не проигрывал бы в своем уме, такого преступления, на которое он внутренне не был готов, такого обмана, которого он не совершил бы в своей душе. В былые времена отечественные и некоторые европейские общественные деятели, имевшие удовольствие и счастье познакомиться с Кондаковым, его политические сторонники и противники, в один голос твердили, что он — гениален, или, по крайней мере, дьявольски умен; он был обаятельный, светский человек, блестящий оратор и искусный собеседник, и Муравьев думал, что тот же Попов, например, прилепился к журналу не только оттого, что ему дороги были какие-то там демократические идеалы, сколько потому, что, встретив на своем пути Кондакова, не смог уже отойти от него, был покорен его всемогущим умом, его всезнанием, его сверхъестественным профессионализмом. Будучи скрытен, в свою личную жизнь Кондаков не допускал никого, и никто не представлял себе ее. Он не пил, не курил, никто не знал есть ли у него женщины, хотя известно было, что он был дважды женат, но, кажется, оба раза неудачно; сын от раннего брака не поддерживал с отцом никаких связей; только двоюродная сестра, старая дева, оставалась ему верна; он жил, по-видимому, лишь политикой и для политики.

И если тем не менее такой человек пребывал сегодня в совершенном ничтожестве, оставаясь всегонавсего главой агонизирующего эмигрантского журнала, то винить все же в этом было некого помимо него самого, и он знал об этом, и все окружающие об этом знали тоже, а тот же Попов за это ненавидел его. Кондакову изрядно не повезло со страной, в

которой началась его политическая карьера, но еще более ему не повезло с самим собой, со своим проклятым характером. Ибо при всех кондаковских феноменальных талантах, при всей его теоретической готовности идти на любой обман, на любую хитрость, при всем его головном цинизме, этот человек вместе с тем был помешан на идее ч е с т и, причем помешан до такой степени, чтобы всерьез надеяться, что эту идею можно распространить и на политику. То есть, он считал: да, политика все еще грязна, лжива, бесчестна — но она не должна больше быть такой! Это варварство. Она должна быть благородна, разумна, исходить из подлинных интересов людей, а не из интересов правящей клики или оппозиционной партии, современная политика должна быть гуманна, или, если угодно, х р и с т и а н и з о в а н а. Он безусловно понимал, что все это — чистейший идеализм, но, к своему же собственному сожалению, был напрочь лишен идеализма другого сорта — заурядного идеализма политика, который свято убежден, что та ничтожная прагматическая борьба, которую он ведет ради осуществления им самим намеченного курса, необходима, что он один с своей партией действительно понимает, что нужно человечеству, которое само, конечно, ничего не смыслит в этом, и потому его нужно вести, направлять, перестраивать и перекраивать, и именно это понимание, и эта великая цель исторически оправдывает использование некоторых методов, могущих шокировать обывателя и филистера. Такого идеализма у Кондакова не было, и отсюда — вообще почти не было веры в то, что политическое действие на самом деле что-нибудь меняет в мире.

Когда-то в молодости он начинал как марксист, его первая работа была посвящена проблеме фор-

мирования промышленного пролетариата на юге России. Позже он порвал с марксизмом, остался в "центре", сделался либеральным демократом западного толка, реформистом, критиковал в своих статьях марксистский вульгарный политэкономический материализм в теории и раскольничью тактику подрыва государственных основ на практике, писал о задачах просвещенного слоя, о праве, о принципах парламентаризма. Однако классическое противоречие марксистской диалектики — противоречие между утверждением существования объективных законов истории и субъективностью, произволом политического действия, — не давало ему покоя и разъедало душу. Он отлично знал, что это противоречие в марксизме как раз очень легко снимается: надо лишь действовать в соответствии с требованиями исторической необходимости, для познания коих марксизм и предоставляет адекватные средства, но ему самому не хватало какой-то пружинки, чтобы не усомниться в реальности этой спасительной формулы. И вот, будучи гениальным аналитиком у себя за письменным столом, сплетая бессонными ночами честолюбивые коварные интриги или бестрепетно обсуждая сам с собой подробности тайного злодеяния, которое нужно было совершить, дабы достичь такой-то или такой-то цели, всегда зная точно, каков должен был бы быть следующий конкретный шаг — к кому нужно обратиться в решающий день, кого привлечь, кого подкупить, кого обмануть — этот человек с наступлением решающего дня не совершал, не подкупал, не обманывал, чаще всего даже не обращался, — не делал ничего из того, что считал нужным, или не делал вообще ничего. И чем безудержней его истерзанное сознание бывшего социального реформатора, революционера ночами соблазняло

его, внушая, что в этом мире только политическое насилие открывает дорогу к успеху, тем упорней днем, в журнале, в каком-нибудь комитете, на публичной дискуссии он стоял за свободу печати и слова, за равноправную выборную систему, за представительное и ответственное министерство, за честь, за совесть, за благородство общественного деятеля. Более того, как и отец Иван Кузнецов, он полагал себя человеком г л у б о к о г р е х о в н ы м, порочным, гораздо хуже других, считал низменной саму свою страсть к политике, отталкивающим — само направление или устройство своего ума.

Он принял Муравьева в постели, встать или даже сидеть ему все еще не разрешали, хотя наверное ему лучше было встать, чем лежать так, как лежал он, — беспорядочно заваленный со всех сторон кипами газет, разбросанных по одеялу, по полу возле кровати, под кроватью рядом с больничным судном и на столике поверх лекарств и нетронутых фруктов, газет русских, английских, испанских и каких-то еще, за все последние числа, а то и недели, что он был лишен возможности читать; между газетами видны были и книги, раскрытые где-нибудь посередине на нужной странице или заложенные бумажными, наспех нарванными из газетных полос закладками. Едва увидев его, Муравьев понял, что никакого душевного разговора, конечно, не получится. Этой ночью переменялось давление, барометр падал все ниже; Кондаков плохо спал и с самого утра чувствовал знакомую сердечную слабость; больничный циркульник плохо выбрил его, клочки седой щетины торчали у него под носом и на скулах, раздражая его, он поминутно ощупывал их руками, и вообще ему было неприятно предстать сейчас перед Муравьевым таким

жалким, больным, в ночной рубахе, обнажавшей его белую и дряблую грудь. С утра он уже начитался по горло и теперь никак не мог выключиться из этого; жуткое видение — аграрная реформа, провести которую посулил латиноамериканский диктатор Карлос Ибаньес, не оставляло его. Воспаленный взор его блуждал где-то по осыпям и отрогам Кордильер. Наконец, с трудом, задышавшись, он заговорил.

Рассказ его был невеселый. Он считал, что до приступа его довели специально. Последние несколько месяцев, пересиливая свое отвращение, он потратил на то, чтобы договориться о материальной поддержке журналу с одним крупным международным евреем-негоциантом, родители которого происходили из Могилева, убежденным демократом, но стоявшим обычно вне политики. Речь шла о довольно значительной сумме единовременно и о постоянных дальнейших субсидиях. Дело было практически решено, обольщенный Кондаковым и преисполнившийся сочувствия к несчастной русской демократии торговец готов был выдать требуемое, когда кто-то, скорей всего из самих же журнальных доброхотов, сказал ему, что дни главного редактора все равно сочтены, он болен неизлечимо, а после его смерти к власти придет его заместитель, человек сомнительный, связанный в прошлом с царской охранкой, который тут же заключит (тайно уже заключил) союз с самыми реакционными элементами среди русской эмиграции, и, стало быть, деньги, предназначенные ко благу, обратятся во зло. Демократ, испугавшись такой перспективы, напрочь прервал переговоры, ушел в Америку, в свою главную штаб-квартиру, и перестал отвечать на письма. Это была уже не первая сорвавшаяся таким образом сделка, и Конда-

ков слег в постель. По его мнению, не исключено было, что всю историю мог спровоцировать сам Попов.

— Но ведь он тоже заинтересован в получении денег? — выразил сомнение Муравьев.

— Он заинтересован прежде всего в том, чтобы отделаться от меня, — сказал Кондаков. — А деньги он достанет еще в тысяче мест. За предательство хорошо платят. — Он нахмурился и стал смотреть мимо Муравьева: ему было стыдно, что он так безоговорочно зачислил в предатели человека, с которым столько лет бок о бок работал, еще хуже было то, что он не удержался и в раздражении начал разговор со своих собственных горестей. — Ну, да ладно, — сказал он с перекошенным лицом, пытаясь взглянуть на гостя. — Это в конце концов должно быть скучно. Расскажите о себе. Пожаловали сюда с каким-нибудь делом? Что там творится у вас в Германии? — стал быстро и нервно спрашивать он. — Вы, кстати, не знакомы с Ахметели? Вы должны его помнить, он был тогда в Добровольческой армии, молодой грузин, помоложе нас с вами. До последнего времени он жил в Бреслау. Я потом скажу вам, почему он меня интересуется. Ну, рассказывайте, рассказывайте...

Муравьев, стараясь угодить этому человеку, который словно гас прямо у него на глазах, физически и морально, начал рассказывать, уже не уклоняясь в сторону, про то, что Кондакову должно было быть интересней всего — про группу Ашмарина-Проровнера. Кондаков слушал нетерпеливо:

— Да, да, — коротко рассмеялся он. — В основном я все это примерно знаю. Ваш Проровнер ведь приезжал сюда. Мы с ним встречались. Есть и другие источники. Но мне кажется, что вы сами не очень четко представляете себе, что это за группа, каковы

ее связи, с русскими, с немцами. Таких групп много. Эта не занимает, конечно, центрального положения, но выяснить, какое именно, было бы важно.

На минуту он попытался стать прежним Кондаковым: опухшее лицо его подтянулось, сделалось живее, рельефнее, глаза очистились от застилавшей их до этого тяжелой мути. Уверенней и строже он начал задавать привычные свои вопросы: с кем из евразийцев эта группа поддерживает контакты? И есть ли у нее связи с Поремским, вообще с "нац-мальчиками"? С Казем-Бекем? С Ост-Институтом, которым руководит Ахметели — вот, оказывается, кто он был такой. Связаны ли они с национал-социалистической партией в самой Германии? Муравьев упомянул о немце, националисте-метафизике, возглавляющем патентное бюро, — так что это за немец, и что это за патентное бюро? Не имеет ли оно отношения к авиастроению? Или, может быть, оно только "крыша" для какой-то тайной организации? Кстати, что производит завод в N.? Патентное бюро имеет к нему какое-либо отношение или нет? Где, собственно говоря, работают Ашмарин и Проровнер? Ашмарин в театре? Это очень странно! Не может ли быть театр также лишь "крышей"? Видел ли Муравьев хоть один спектакль? А, может быть, им помогает кто-нибудь из крупных промышленников типа Форда или Базиля Сахарова? Известно, что последний поддерживает такие группы. Если завод в N., и правда, занимается вооружениями, то прямо или, скорей всего косвенно, он может контролироваться Базилом Сахаровым. Тогда картина приобрела бы законченность. Но все же это мало вероятно. Что это за дама, по имени Катерина, вернувшаяся в СССР? Что Муравьев может сказать о других, пожелавших вернуться? В какие районы страны они направились, и так далее.

Муравьев не мог вразумительно ответить ни на один из вопросов, даже о том, какова фамилия немца-метафизика из патентного бюро, и что это за дама, по имени Катерина. Кондаков был разочарован, принялся покусывать тонкие губы и трогать чесавшиеся под щетиной скулы и шею.

— Да, вы, конечно, ничего не знаете, — зло сказал он. — Для того, чтобы написать статью, ... ведь вы хотите выступить со статьей, я вас правильно понял? — это все надо выяснить. В статье это может остаться "за кадром", но выяснить надо.

Обиженный тем, что Кондаков, как и его заместитель вчера, погряз в своем профессионализме и смотрит на него, как на прекраснодушного дилетанта, Муравьев (его смутило и то, что Кондаков заговорил о статье, хотя сам он не произнес о ней ни слова) тоже зло сказал:

— Я ведь в конце концов не шпион. Знаю я что-нибудь об этом патентном бюро или нет, не имеет значения! Я представляю себе их идеологию и идеологию подобных же групп, и это, а не что-нибудь иное, играет решающую роль! Об этом и только об этом нужно говорить! И эта идеология ясна — это идеология войны! Она одна у всех националистических партий, по крайней мере в Германии! Идеология подготовки к будущей войне. Есть у них сейчас контакты с Базилем Сахаровым или нет — не суть важно. Он будет поставлять пушки, когда война начнется, и этим сказано все! Кстати, почему вы решили, что я хочу выступить со статьей? Вам что, успели уже передать?

Кондаков выслушал его на сей раз с любопытством. Легкая усмешка тронула его губы при последних вопросах. Откинувшись на подушках, скрестя руки на груди, он устремил взгляд куда-то вдаль, вероятно, еще далее Кордильер — на

идеальные просторы исторического мирового целого. Сейчас он был даже красив, как в старые времена.

— Хорошо, — медленно промолвил он, так и не ответив на вопрос и не отведя взора от того, что открывалось ему в его необъятной дали, — вот вы говорите — война. Но война с кем? Кого и с кем?

— Вы полагаете, что поскольку это будет война с коммунизмом, с Советской Россией, то неважно кем она будет развязана, и кто будет в ней участвовать? — переспросил Муравьев. — Вы что, подозреваете меня в тайных симпатиях к коммунизму? Вы не можете подозревать меня в этом. Я воевал в Белой армии! Но ведь я говорю не о том. Неважно, будет ли в новой войне разбит коммунизм или нет, важно, что эта новая война, в которую так или иначе будут втянуты все народы, — в принципе невозможна!

Разволновавшись, Муравьев еще некоторое время продолжал говорить об уровне современной техники, о европейской культуре и гуманизме. Кондаков, очевидно, был заранее несогласен и чуть-чуть морщился, но молчал, дожидаясь, пока Муравьев не начнет повторяться.

— Во-первых, — вступил он, дождавшись, — война вполне возможна. Сотни и тысячи людей хотят воевать, им нравится воевать, они любят это дело, видят в нем смысл, и им наплевать на вашу европейскую культуру, на уровень военной техники, ... на саму смерть, в конце-то концов!.. Во-вторых ... почему, собственно, вы решили, что это будет война с коммунизмом, точнее, война Германии с Россией? Или всего Запада с Россией? Есть ведь и другие варианты! И прежде всего — такая война, в которой Россия и Германия будут выступать как союзники — против Запада!

Кондаков воодушевился, привстал с подушек, отшвырнул с живота в ноги скомканные газеты, глаза его заблестели. Муравьев не знал, что именно эта идея более всего и занимала Кондакова последние месяцы три, и, быть может, именно из-за нее он был все эти месяцы постоянно возбужден и взинчен настолько, что измученное сердце его так сразу сдало при неудаче с торговцем. Этой осенью один знакомый из британской разведывательной службы конфиденциально сообщил ему, что, по имеющимся у них сведениям, советская Россия в обход Версальского договора тайно способствует развитию германского Рейхсвера. На авиационном заводе в Филях, под Москвой, строятся военные самолеты конструктора Юнкера, на аэродромах близ Воронежа и Гомеля проходят совместное обучение русские и немецкие летчики, имеются такого же рода танковые училища около Казани. Генерал-майор Вернер фон Бломберг недавно ездил в Россию с целью проинспектировать эти училища. Имеются данные, что Россия поставляет в Германию также военную амуницию, пехотное снаряжение, артиллерию. Германия уже сейчас имеет секретный запас в 100 000 винтовок сверх дозволенного ей Версальским договором.

Едва Кондаков услышал не так давно эту новость, он тотчас же связал ее в уме с гипотезами, которые еще до войны предложил известный Меллер ван ден Брук, проводивший границы между западной и восточной Европой — по Рейну, относя, следовательно, Германию почти полностью к "Востоку". Три-четыре года назад сходные идеи высказали знаменитый немецкий географ Фридрих Ратцель, отставной генерал Карл Хаусхофер и шведский профессор Рудольф Челлен. Эти трое называли себя "геополитиками", их теории о молодых и старых нациях, о

жизненном пространстве и о *Der Staat als Lebensform* приобретали все большую известность, и Кондаков был поражен, что Муравьев, живя в Германии, ухитрился так мало знать о них. Для самого Кондакова ратцелевская "Политическая география" и эта самая "*Der Staat als Lebensform*" Челлена сделались настольными книгами. Его приводил в восхищение и сам термин "геополитика", емкий и точный, само звучание этого слова; он не был согласен с содержанием этих теорий, но возмущаясь их ограниченной претенциозностью, отмечая их логические и фактические ошибки, выявляя их передержки, бездоказательные утверждения, он в то же время мучительно завидовал этой самоуверенной немецкой непреложности построений, на которую у него самого никогда не хватило бы духу; он жалел, что не сам нашел это слово, и ему даже казалось, что про себя он всегда так и обозначал открывающуюся ему систему мировых соотношений. Услыхав о тайном сотрудничестве Советской России и Германии, Кондаков ни минуты не колебался: оно, несомненно, не было лишь случайным, конъюнктурным вывихом — оно было частью грандиозного, тщательно-разработанного геополитического плана, нацеленного на уничтожение прогнившей западной цивилизации, на завоевание мирового господства. Индустриализация Советской России помощью германского технического гения, вооружение Германии помощью русской рабочей силы, выработка совместной, приемлемой для обеих стран идейно-политической программы типа "прусского социализма", предложенного философом Шпенглером, как антипод западному постыдно индивидуалистическому демолиберализму, — таковы были, насколько мог умозаключить Кондаков, основные элементы этого обширного плана.

— Вы ведь должны понимать, — сказал Кондаков, наугад тыча пальцем в какую-то книгу, торчавшую из-под подушки, — что старопрусский дух и социалистическое мировоззрение на самом деле ненавидят друг друга б р а т с к о й ненавистью и являются в действительности единым целым. Разве вы не видите, что социализм в теперешнем советском понимании — это, прежде всего, твердый государственный порядок, дисциплина, иерархия. Кстати, подобные же мысли высказывает и Ахметели.

Кондаков был убежден, что геополитики самым теснейшим образом сотрудничают с германским — а, может статься, и с советским — правительствами, он допускал, что могло иметь место даже их прямое участие в выработке всех этих секретных договоров и соглашений. Как всегда его особенно интересовало: кто из них конкретно и когда этим занимался (кто, в частности, занимался этим в России); он негодовал на самого себя, что проворонил начало этих операций.

— Нет, как хотите, а Германия — это страна, принадлежащая также и Западу, — сказал Муравьев.

— Не имеет никакого значения, — возразил Кондаков. — В крайнем случае она будет просто вновь расколота, разделена на несколько частей, минимум на две — Восточную и Западную. К Востоку, к славянам органически тяготеют Пруссия, Мекленбург, Бранденбург, Силезия, отчасти Тюрингия. Остальные земли действительно могут отойти Западу. Разумеется, это не произойдет так просто. Может быть, этому как раз и будет предшествовать война, большая война.

— Но ведь сейчас в Германии, в той же Пруссии, например, у власти социал-демократы, — сделал слабую попытку сопротивляться Муравьев. —

Они, очевидно, не могут желать уничтожения традиционных для Запада свобод.

— И тем не менее они заключили тайные соглашения с большевиками! Есть понятие исторической необходимости, оно заставляет вас играть в ту игру, в которую, может быть, вы играть не хотите. И немцы хорошо чувствуют это. А мы, — я имею прежде всего в виду самого себя, — как все русские марксисты, хотя и бывшие, недооцениваем германскую социал-демократию, всех этих Вельсов, Мюллеров, старика Каутского, презираем их, для нас они, видите ли, слишком буржуазны! Наша ошибка была в том, что мы не сотрудничали с германской социал-демократией, тогда бы мы могли как-то влиять на процесс!..

Кондаков увидел, что его опять вынесло к фундаментальному противоречию между исторической необходимостью и волей политика, и с неудовольствием остановился. Тотчас ему сделалось совсем худо. В изнеможении он откинулся на подушки, неуклюже пытаясь переменить позу, повернуться набок. Муравьев вскочил со стула, желая ему помочь, беспокоясь, не нужно ли позвать сиделку, но Кондаков раздраженно отстранил его рукой. Наконец ему удалось повернуться. Минуту или две он лежал, прикрыв глаза и трудно дыша, затем приподнялся на локте и, с гримасой омерзения взглянув на Муравьева, спросил:

— Послушайте, а за каким чертом вы вообще влезаете во все это?! Ведь это же отвратительно! Зачем вам это? Ведь люди придумали себе занятие политикой, чтобы не думать о нравственности. Вернее, вся нравственность теперь сместилась в область политического. Считается, что нравственно принадлежать к одной партии и не принадлежать к другой. Человек может быть жаден, может быть пропой-

цей, может быть подл по отношению к своим близким, к своей жене, но никто не интересуется этим. Интересуются только: за правое или за неправое дело он выступает! Что может быть глупее этого! Глупее и бессовестней! Жалкие, слабые, порочные люди становятся правдолюбцами, объявляют, что борются, видите ли, за свободу! И самое удивительное, что все начинают тупо верить им, считать их смелыми и мужественными, хотя в большинстве случаев они только достаточно оборотистые люди. Мне противно подавать руку большинству из них! И ... и вот теперь вы туда же! — последние фразы он выкрикивал уже сорвавшимся голосом. Кашляя, он схватился рукою за горло. — Зачем вам это? Зачем! Подумаешь, какая из собак сожрет другую! Не вмешивайтесь, бросьте. В конце концов вас просто убьют. Начавши заниматься политикой, надо самому быть готовым на убийство... Иначе вы станете всеобщим посмешищем!..

Муравьев сидел, сам, как ему казалось, будучи близок к сердечному припадку.

— Надо быть готовым на убийство, иначе вы никогда не сможете стать хорошим политиком, — продолжал хрипеть Кондаков. — Надо любить убийство. Посмотрите, как любят играть в войну дети. Как они любят убивать и как они любят быть убитыми! Потом, к сожалению, это проходит. Появляется какой-нибудь старый дурак и начинает вещать: мир, мир, мы хотим мира, остановите руку убийц!.. Хотя вы-то, кажется, не из таких, — он вдруг снова рывком сел и с диким подозрением уставился на Муравьева (совсем, как бывший его ученик в редакции, накануне). — Позвольте, — сказал Кондаков. — А что это за слухи, что вы связались с Троцким? Это еще за каким чертом вам понадобилось? Вы что, даете им деньги? По-моему,

вы ставите не на ту лошадку! Вы рассчитываете на его победу? Напрасно! Я, впрочем, не верю, что вы так циничны. Я понимаю, дочь ваша еще слишком молода, но вы-то должны ей объяснить что-то. А вместо того вы сами! ...

Кондаков откинулся на подушки. Что-то бормоча, Муравьев бросился в коридор за сиделкой.

## XXIX. А Г О Н И Я

...Он опомнился далеко от своего дома, на лестничной площадке перед дверью таниной квартиры. Открыв ему, танина мать остолбенела: как смел он появиться на пороге их дома?!

— Ах, это по делу! — запищала Таня, выбегая из кухоньки. — Прости мама, это по важному делу! Прости!

Та медленно, с шуршанием исчезла — как змея, кольцо за кольцом.

В комнатке Таня бросилась к нему на шею. Мелик долго стоял, поначалу вяло обнимая ее, затем собрался с духом и легонько подтолкнул к кушетке.

— Что ты делаешь, нельзя! — увернулась она. — Нельзя, ты сошел с ума! Здесь же мама!

— К черту маму! Слушай, мы уже не маленькие! Скажи маме, что мы женимся. Скажи сейчас же! Пойди и скажи, и пусть убирается к... Слышишь, иди, — просил он.

Зажимая ему рот ладонью, она счастливо смеялась.

— Что ты смеешься? Ты что, не хочешь, чтоб мы поженились?! У тебя что, другие планы?! — он чувствовал, что имитация выходит слабой.

— Нет, нет, — ничего не замечая, влюбленно ворковала она. — У меня один план — быть с тобою, всегда! — Но так нельзя, мы должны все обдумать. Надо подготовить маму... А ты сам, твое решение твердо?

— Да, да, да! Я шел к тебе всю мою жизнь! Ты же знаешь, — упрекнул он.

— Ах нет, не всегда, — опечалилась она. — Иногда ты ускользал как раз тогда, когда я думала, что мы с тобой уже нераздельны, когда я ждала тебя... Вот и вчера, где ты был вчера? Ты был мне так нужен! Я искала тебя, заходила к тебе! Неужели ты... после того, что... ты мог быть настолько нечуток... я не говорю — бессердечен, нет, извини меня — невежлив, чтобы хотя бы не позвонить мне?

— Прости меня, прости, прости! — речь давалась ему с трудом. — Вчера с утра я не решался звонить, чтоб не разбудить тебя прежде времени. ("Я не сомкнула глаз", — откликнулась она). А потом... возникло одно непредвиденное дело... пришел один человек, а потом... я сидел в библиотеке! Прости, надо было экстренно... закончить одну вещь... Посмотреть кое-какие книги, материалы. Так, одна давнишняя моя идея. Ничего особенного, доморощенное богословие, но все же мне дорого. — Он сам удивился тому, что сказал, но тут же ему стало ясно, что действительно он в один из этих дней что-то такое писал; он даже нащупал какие-то листочки в кармане. — Называется, — продолжал он, — ... впрочем, не суть важно, как называется. Все откладывал, а теперь приспичило доделать. Есть канал, по которому можно переправить... туда. Он завтра уже закроется, а я хочу, чтобы экземпляр был там, на всякий пожарный случай, мало ли что здесь может произойти.

— Я ничего не понимаю, но чувствую, что-то случится, да? Не обманывай меня. Ты чего-то опасаясь? Тебе что-нибудь угрожает?!

Он растерянно молчал.

— Да-а... пожалуй... Знаешь, кажется, начинают бить по нашему квадрату...

— Что-что?

— Я говорю: бьют по нашему квадрату!

— Ты шутишь?

— Какие там шутки! — наконец-то встряхнулся он. Никаких шуток! ... Мне тут сказали... Только ты ни слова, слышишь? Это страшный секрет! ... Я не могу тебе сказать, кто... Короче говоря, откуда, — он показал пальцем вверх. — Только ты не беспокойся, пожалуйста. Выслушай все до конца. И никому ни полслова! Ни одного намека, в том числе и заинтересованным лицам, разумеется. Иначе все сторгят, и мы и они! Понимаешь?! Только ты не волнуйся, видишь, я сам волнуюсь... Короче... меня просили предупредить, что Сергея Леторослева ждут крупные неприятности! Понимаешь, он, оказывается, с тех, прежних, своих служб натащил огромное количество секретных бумаг... Всяких там документов, инструкций... На тех предприятиях, где он работал, знаешь ведь какой порядок? — идешь, извини, пописать, клади бумаги в специальный чемодан, чемодан бери с собой, в сортире над урьльником вешай на гвоздик!.. Вот. А он не только не клал и не вешал, но половину этих бумаг упер с собой! Я уж не знаю как — с тех-то предприятий наверное в копиях, а с последних, где не такой строгий режим, возможно что в натуральном виде. А сейчас это вскрылось. Я так понял, что у него дома тайком уже шерстили в его отсутствие, был шмон то есть, и кое-что уже нашли.

Если он сейчас даже спрячет остатки, его это все равно не спасет...

Таня слушала, судорожно сжимая руки.

— Боже мой, Боже мой, — воскликнула она. — Я так и знала, так и знала! Я предупреждала его. Ты думаешь, я этого не делала?! Сколько раз я говорила ему, что нужно бросить эту дурацкую игру в секретность, что это погубит его! ... И вот теперь... Боже мой! Бедная Наташа, это убьет ее!

— Это еще не все, — задрожал Мелик. — Он связался и с Хазиным, и с остальной компанией... У них там целый подпольный Центр! Теневой кабинет! В прошлый вторник уже было "Пещерное совещание"\*! Распределяли портфели! Составляли списки!.. Хазина — премьером! Вирхова — министром по печати!

Таня закусила губу, чтоб не закричать от горя.

— ... Ивана, — теперь уже неумолимо гнул он свое — военным министром! Решили привлечь и из других течений. Чтоб была коалиция. Из славянофилов кого-то. Там у одного прабабка была деревенская, читать-писать не умела, а в Бога не верила, с Емельяном Ярославским дружила... Так вот — правнука министром сельского хозяйства, пусть подымает! Колхозы, конечно, распустить. Продолжить стольпинскую реформу! ... Министром финансов Целлариуса, представляешь себе! А Леторослев разрабатывает для них математическую модель захвата власти. Система "ПЕРТ"! Фидбэк фюить! Три "К", как в учебнике — коммуникации, контроль, командование. Я забыл тебе сказать: я говорил с Хазиным, тот утверждает, что

---

\* На "Пещерном совещании" (пещера в районе Минвод) летом 1923 года анти-сталинское крыло ЦК распределяло портфели. — Авт.

Сергей уже собрал много данных. Один научно-исследовательский институт, с которым он раньше был связан, выразил согласие помочь. Хоздоговорчик. Предоставят программисточек, просчитают на электронных машинах, и...

Таня была потрясена. Мелик даже не ожидал, что сказанное произведет на нее такое впечатление. Она тяжело дышала, лицо совсем побелело.

— А ты? А тебя? — не проговорила, а прохрипела она.

— Меня? — Оберпрокурором Синода! Каково, а? Вот сволочи! — Он внезапно по-настоящему вошел в раж. — Я сказал Хазину, что я в гробу видел их списки. Хороши, голубчики, нечего сказать. И это люди, на которых я надеялся! Ведь в конце концов это я их сделал людьми, они все вышли из меня, верно? Они — мое порождение, в духовном плане, конечно. Все их идеи — это мои идеи! А они хотят кинуть мне кость, чтоб заткнуть глотку. Не выйдет! Мне не нужна демократическая республика, где вы будете у власти! ...Я говорю о том, — пояснил он, видя, что она сидит с выпученными глазами, — что единственная форма правления, которую я признаю, это свободная теократия... Понимаешь? Чтоб митру на голову и на осляти вокруг Кремля!

— Да, да, я тебя понимаю, — прошептала она.

— Да слушай, не плачь, не плачь! Я говорю не о том! — с досадой закричал он. — Не о том, понимаешь, все вздор! Все это игрушки, мальчишки играют в войну! Но из этого могут выйти серьезные неприятности, вот в чем дело! Вот о чем надо думать! Их могут сцапать, вот что сейчас страшно, а не то, что у кого-то из них мания величия. И ... слушай меня внимательно... Я знаю, что нужно, чтобы их выручить... Дело могут прикрыть в один

момент! Я знаю человека! Он готов, он согласен... Но конечно не за просто так, не за спасибо, не за здорово живешь! Короче, нужны деньги. Я знаю, он возьмет, он намекал, но ясно, что немалые! Надо будет собрать. Только в абсолютной тайне... Никому ни слова.

— Ах, что же мне делать? — вдруг привскочила она. — У меня как раз вчера появились деньги, но пришел Митя Каган, ему нужно было для отъезда, выкупить визу, билеты на самолет до Вены, и я все что у меня было, полторы тысячи, отдала ему...

Она виновато заглянула ему в глаза.

В меликовой логике ее известие нарушило какую-то связь, и он некоторое время беспомощно соображал: значит это что-нибудь для него реально или нет, есть ли за этим еще некий сокровенный смысл.

— Митенька Каган? — рассеянно спрашивал он между тем. — Разве он уже уезжает? Разве это возможно так скоро?

— Нет, нет, — отвечала она. — Конечно, это не так скоро. Пройдет еще несколько месяцев, прежде чем ему разрешат, он только собирается подавать документы. Но он упомянул о деньгах, сказал, что у него будет много расходов, и я решила, если уж они у меня есть, а он в таком тяжелом положении, то почему бы мне их ему не дать?

— Да, безусловно ты права, — машинально приговаривал он. — ...В народе говорят: еврей еще не родился, а ему уже пианино покупают. А что же ты отдала ему все деньги? Не оставила себе ничего на жизнь?

— Остальные деньги я отдала маме, как всегда. Моими деньгами всегда распоряжается мама. А мне, мне не так уж много нужно. Зачем мне день-

ги? Ты вот живешь почти без денег и не страдаешь от этого...

— Да-да, ты права, — рассеянно повторял он.

Смутная мысль мелькнула перед ним и исчезла, затем появилась снова, он ощущал, что она присутствует, мечется где-то в сознании, но не мог еще выразить ее словами. Он вспомнил, что вчера (или не вчера, а сегодня? — окна были зашторены, на улице темно, — сколько времени прошло, как он вернулся из Покровского? — пусть будет вчера, стало быть, прошли сутки), итак, вчера было похоже: ему тоже брезжила некая смутная мысль, но тогда она кристаллизовалась скорее. О чем размышлял он тогда? О деньгах? О том, как их быстрее вымозжить у нее? Да. А что его донимало сейчас? Он не ведал. Пока что лишь странное поразительное безразличие к тому, о чем он только что говорил, чего только что добивался, охватило его. "Неужели, и правда, я х о ч у этого? — подумал он. — Неужели, и правда, я прожил такую жизнь, чтобы провести остаток дней с н е ю ?! Пусть при деньгах, в сытости, в довольстве, с детьми, своими и чужими, в своем доме, здесь или в Европе, зачем мне это? Разве я стремился к этому? Так в чем же моя мысль? — переспросил он себя. — Что мне вдруг сию минуту пригрезилось? Что я не хочу жить с нею? Нет, не то..."

— Видишь ли, — с остановками медленно начал он, чтобы в потоке произнесенных слов, может быть, нащупать то, что быстрой тенью сквозило в уме, но помимо воли свернул на что-то другое... хотя это было уже, он знал, поближе. — Видишь ли, деньги конечно — прах. Это так. Но бывает, что они нужны! Дело не в деньгах, а в том, что ... Хазин... может... расколоться. Вот что страшно, понимаешь? Я это ч у в с т в у ю... Он созрел для

этого. — Слова теперь вылетали быстрее. — Он все последнее время играет с ними в и г р у. Он без конца встречается с ними, они у себя на Лубянке поят его кофе. Он хвастался. Он торгуется с ними. Он говорит им: если вы сделаете то-то и то-то, тогда и мы готовы не делать того-то и того-то! Он думает, что он с ними на равной ноге. А с ними нельзя быть на равной ноге, с ними нельзя играть в такие игры, они наверняка тебя переиграют! Их много, у них аппарат, деньги... Слушай, я чувствую, он запутался, он потерял чувство реальности. Он предаст тут же!

”Да-да, все именно так и будет, — сказал он самому себе. — Здесь я неожиданно наткнулся на правду. Любопытно. А ведь их и верно есть за что взять, а им, несомненно, есть что рассказать”.

Ему стало жарко, на лбу выступил обильный пот, голова загудела, раздалась, словно внутри со звоном лопнули какие-то скрепы. Он уже не медлил, не искал слов:

— Я прав, прав! — победно рвался он вперед. — Стоит им надавить на него, и он треснет! И Иван тоже, и с ними многие другие! Сгорят все, но начнется с этих! Я знаю: они уже готовят заявления! Я знаю, что они там скажут! После реабилитации я (то есть — он!) жил в самоизоляции. Интересовался прежде всего передачами зарубежных радиостанций, носившими зачастую антисоветский характер, чтением нелегальной ввозимой из-за рубежа антисоветской литературы... Невозможно подробно осветить всю нашу антисоветскую деятельность, продолжавшуюся в течение нескольких лет и охватывающую сотни эпизодов... О ее объеме говорят сто пятьдесят томов нашего дела. Я уверен, что самый предубежденный западный юрист, ознакомившись с этими материалами, не поставит под

сомнение выводы суда. Я несу моральную ответственность за судьбу тех наших товарищей, которых своими действиями и своим примером вовлек в деятельность, враждебную государству...

— Да, ты прав, ты прав, — помертвевшими губами шептала Таня. — Это очень опасно. Хазин всегда был мне чужим. Я чувствовала: не могу принять! Я чувствовала, что он близок к состоянию, которое богословы называют "духовной прелестью". Дьявол прельщает таких как он...

— ...Этот дрейф в сторону враждебности, — не унимался Мелик, — виден как из наших документов, так и из наших действий. Если вначале мы выражали в них критическое или отрицательное отношение к отдельным арестам и судам, то впоследствии наша деятельность стала враждебной по отношению как к различным аспектам государственной политики СССР, так и к государству в целом...

— Господи, Господи! Как страшно! — почти заголосила Таня. — Не надо, давай молиться за них, помолимся вместе!

Ему показалось, что она прямо сейчас брякнется на колени, как вчера валился он сам, как валились т е (или то было все-таки не вчера, а сегодня?). Он сделал движение к ней, потом от нее, потом в сторону, к двери, а горло и легкие его в эти мгновения уже разрывались от утробного издевательского крика:

— Молиться? Вместе? Давай! — И с новой энергией: — Что же ты не молишься? После реабилитации я жил в самоизоляции! Людоода людоода приглашает на обед! Давай, дерзай, дочерь...

— Что ты говоришь, что ты говоришь? Что с тобой? — запричитала она, обливаясь слезами. — Ты не имеешь права! Молитва нужнее им, чем деньги! Неужели ты сомневаешься в этом?

За дверями послышалось матушкино шуршанье.

— Ничего, ничего, — подхватился он. — Мне надо бежать, мне надо торопиться! — Мысли его прояснились, теперь он уже знал, чего хочет. — Идеи носятся в воздухе, понимаешь? Рынок идей! Если идея пришла в голову одному, значит она пришла еще десятерым! Кто скорее? Видишь, я еще только подумал о деньгах, а умный мальчик Митенька Каган их у тебя уже занял! Вот именно! Что "именно"? Нет, нет, ничего. Я не сержусь на тебя. Да и что за деньги — полторы тыщи, сколько там ты ему дала? Деньги прах! Главное в идеях, которые бродят по свету. После реабилитации жил в самоизоляции. Людоода людоода. ...Прости! Я страшно взвинчен. Не сердись. Нет, прости, я все соврал, и тебе и себе. Все не так. Дело в том, что мне кажется, что они запутали меня нарочно, хотели подловить меня. Вокруг меня последнее время крутятся какие-то странные люди... Как ты считаешь, твой Гри-Гри не связан ни с кем? А то мне кажется, он не случайно возник около меня. Он и... еще один человек... — (Он был намерен прямо сказать: Лев Владимирович, но не решился). — Ты считаешь — ерунда? Может быть. Но все равно, мне надо сейчас бежать... Я скоро вернусь. Я совсем забыл. У меня было назначено randevu... С лицом мужского пола, не с барышней. Человек ждет меня на улице. Я тебе говорил — к а н а л. Он завтра уезжает. Прости!

— Береги себя, береги! — кричала она ему уже вниз, перегибаясь через перила. — Я буду молиться за тебя! Господь спаси тебя и помилуй!..

— Аминь! — неистовым эхом грохнула над ним лестница.

Широкий больничный коридор загромождали койки для тех, кому не хватило места в палатах. Воздух был спертый, лежали, по крайней мере тут, в коридоре, все вперемежку, мужчины и женщины, легкие и тяжелые больные. Какая-то высохшая старуха стонала, ее нога в гипсе была подвязана к спинке кровати. Стыдливо прыгала на костылях молодая девушка. Рядом два пожилых мужика с ханжеским выражением на лицах играли на постели в шашки. Сестра несла наполненный шприц, зажав кончик иглы ваткой. Возле некоторых коек сидели навещавшие — в белых, не очень чистых накидках без рукавов.

Мелик шел в такой же накидке, заглядывал в раскрытые двери неопрятных многолюдных палат, всматривался в запрокинутые лица, которые боль сделала похожими одно на другое, задерживался над ними, не умея в таких ракурсах сразу понять, тот ли это, кто ему нужен. Наконец сиделка сказала ему, что здесь лежат с ушибами и переломами, вчерашний и ночной завоз, а с инсультами — на другом этаже.

Там было потише, коек стояло меньше, и обойдя коридор, в дальнем краю Мелик нашел своего сумасшедшего.

Тот лежал на спине с закрытыми глазами и вытянутыми вдоль тела под одеялом руками, являя собой образ самой смерти — лица не было, торчал лишь желтый череп, испещренный кирпичного цвета пятнами, с приделанным к нему злым шутником длинным носом из папье-маше, — но, может быть, просто был без сознания или даже спал, потому что подле него на стуле сидел, весьма покойно положив ногу на ногу и скрестив на груди руки, внушительных размеров джентельмен, крепкогрудый, с зачесанной назад сивой гривой, в дорогом ворсистом

шерстяном костюме, отливавшем серебром, в полосатой рубаше и тщательно подобранном галстуке. Разве что слишком далеко выехавшие манжеты рубашки портили картину гармонии и солидности.

— Спит, — полушепотом, приветливо сказал Мелику джентельмен, — пусть поспит, намаялся, бедняга. Берите стул, садитесь, он скоро проснется.

Мелик заметил, что тот едва-едва мог умерить мощь своего командирского рыка.

— Почему вы думаете, что проснется? — спросил Мелик, все еще стоя. Ему почудилось, что он встретился уже где-то с этим джентельменом и рык того ему знаком.

— Я его знаю много лет, — отвечивал тот.

— А с вами, с вами мы знакомы? — голос у Мелика сделался отчего-то совсем тоненьким. — Мы с вами где-то, как говорится, встречались?

— Очень может быть, — внушительно сказал тот. — Садитесь. Сейчас выясним.

Мелик повиновался, в ногах появилась вчерашняя слабость, лоб покрылся испариной.

— Ну-с, — предложил тот. — Вы как будто должны были узнать что-то о деньгах...

У Мелика екнуло сердце:

— Как, как вы сказали?

Джентельмен нахмурился и погрозил ему коротким крепким пальцем:

— Это ты оставь! — приглушенно рявкнул он, перейдя на "ты".

— Я все-таки не понимаю, — попробовал артачиться Мелик; мурашки ползли у него по скулам, он надеялся только, что в тусклом коридорном свете джентельмен этого не углядит. — О чем вы говорите.

— О деньгах.

— Деньги — прах! — из последних сил хитрил Мелик. — Счастье не в деньгах...

— А в чем? — неприязненно приподнял тот густую бровь.

— Счастье в том, чтоб... исполнить предначертанное ...

— Что-о-о-о? — набычился тот, сжимая пальцы в кулак. — Эт-то ты оставь! Мне кажется, если уж был договор, то какого черта, а?

Он полез за пазуху, и тут же что-то взорвалось — Мелик узнал его и бросился к нему, удерживая его руку, чтобы он не трудился понапрасну.

— Ах, извините меня, извините! — вспыхнул он. — Я... я сразу не признал вас, сразу не понял! Я последнее время в каком-то страшном волнении ... даже видеть стал хуже... (Тот вынул из кармана очки в золотой оправе, потер стекла о серебристый ворс толстого колена, водрузил их на прочный нос и уставился на Мелика). — Извините, — засуетился Мелик, — я ужасно волнуюсь. Вот и давеча, видите, хлопнулся в обморок. Стыдно, я понимаю, в такую минуту... Сробел... сомлел... Я понимаю: церемония подписания и вдруг... такое. Виноват. Вы, впрочем, наверное к этому привыкли. Но не подумайте, что я подписал сгоряча. Нет, нет, это было вполне сознательным, глубоко обдуманым шагом. Я давно стремился к этому... Я знаю, мой отец, — он кивнул в сторону спящего, — работал у вас, теперь он временно... э-э... выбыл из строя... Я хотел бы по мере сил... не то чтобы занять его место, нет, это, конечно, невозможно, но в принципе... тоже послужить! Я верю, что буду полезен. Кое-что я уже сделал. И сейчас я пришел не с пустыми руками... Я все эти дни работал, и вчера и сегодня... Если позволите, я изложу...

— Хорошо, — одобрил тот. — Только тезисно, тезисно...

— Да, да, самую суть. Это давняя моя работа. Нет, нет, завершеного текста еще нет, в ближайшие дни доделаю и отпечатаю набело. Но основное уже найдено. Называется... "Оправдание Иуды". Мне кажется, это представляет интерес? — ("Вне всякого сомнения", — прогудел собеседник). — Интересно, правда? Тем более, что у меня этих оправданий не одно, а целых пять! Если позволите, я начну...

Он достал из кармана смятые листочки, которые нащупал еще сидя у Тани.

— ... Так вот, — он близоруко сощурился, потому что и в самом деле видел все, как сквозь сито. — Я начинаю с юридического оправдания. Оно элементарно, я даже удивляюсь, как это раньше такое никому не приходило в голову! Я опускаю обстоятельства дела, они достаточно известны. Перейдем прямо к проблеме. В Евангелии от Луки сказано: "...вошел же сатана в Иуду..." То же самое у Иоанна: "И во время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде...", и далее опять: "...и после того куска вошел в него сатана...". Что все это значит? Это значит, говоря по-нашему, что Иуда был "одержим бесом", верно? А раз был "одержим бесом", то, стало быть, в согласии с общераспространенным толкованием этого идиоматического оборота — неменяем. А раз неменяем, то и вины на нем нет. Ему нельзя вменить в вину совершенные им действия, его нельзя за них судить! По любому из ныне имеющих обращение в мире кодексов уголовного права он не подлежит преследованию в судебном порядке, а по прохождении медицинской экспертизы должен быть направлен в психиатрическую клинику с целью принудительного лече-

ния. Итак, он действовал в состоянии умопомрачения и, разумеется, возникшее у него впоследствии чувство вины, послужившее причиной самоубийства, также было обусловлено тяжелой нервной депрессией, то есть было в значительной мере иллюзорным, галлюцинаторным...

— Неплохо, — похвалил собеседник. — Хотя и не совсем точно. Лучше было, например, сказать: к нему неприменимы санкции, предусмотренные ... Ну да это неважно.

— Я учту... Второе оправдание носит характер морального, этического. Мы сказали: был невменяем. То есть действовал как бы помимо себя, помимо своей воли. Был бессилён действовать иначе. Пробовал, конечно, страдал, рвался, но удостоверился в своей бессилии, в ограниченности своего разума, в немощи своей воли. Но ведь в этическом плане это — высшее, чего может достичь человек! Не иметь своего, отдаться целиком во власть обстоятельств, исполнять предназначённое! Благородный стоицизм! Римское воспитание! *Amor fati*, как говорили древние. Любовь к року, уважение к року. Идущие на смерть приветствуют тебя! Безумие, с этой точки зрения, крайняя, высшая форма нравственного поведения. Этическое — доведенное до своего логического предела. Величайшая мудрость, дар богов! С идиотской ухмылкой наблюдать, как сталкиваются миры, рушатся человеческие жизни, искореняется красота. Священное безумие. Сколько усилий тратим мы, люди изнеженного века, на то, чтобы выработать в себе такое отношение к бытию! Мы бунтуем, мы не можем "вписаться", мы своевольничаем. А здесь, в едином порыве — самоотречение, отказ от всего, и от самого себя прежде всего! О, это подлинно Великий Отказ! В смелом опыте над самим собой постичь,

что для тебя нет безграничного многообразия возможностей, что ты — конечен, замкнут, что ты достиг своего порога... Это я перешел уже к третьему, философскому оправданию... Так вот... добраться до порога, увидеть, каков он, твой порог, и тем самым познать самого себя. Сказать: разговоры о бесконечных человеческих потенциях — болтовня! Сказать: есть судьба, рок, или есть незыблемые законы естества. Надежды нет! Все твои ужимки, прыжки, увиливания, творческие потуги ведут тебя лишь к твоему порогу. Тебе не суждено иного. Какое сладостное знание! И, ясно из этого рассуждения: предать Бога, чтобы разом, одним махом дойти до предела — это наиболее полный — изо всех мыслимых — акт действительного самопознания! Все остальное — исповеди, философские автобиографии — пустая эквилибристика, которую изобретают для того, чтобы спрятать поглубже истину. Нет, только предать Бога, воплотившегося, вочеловечившегося, то есть предать не фигурально, а ощутив, что Его жизнь у тебя в руках — только это открывает человеку адекватный способ постижения собственной сущности...

Сумасшедший заворочался и выпростал из-под одеяла иссушенную пятнистую руку с обвислой кожей.

— ... Далее, богословское оправдание. — Мелик не мог отвести глаз от этой руки. Рука конвульсивно сжималась, словно подстегивая его. — ... Богословское. Оно давно разработано. Предать Бога, чтобы освободить людей от веры в Него, от веры в чудо, в Божественную мистирию. Чтобы человек мог "здесь" и "теперь" развиваться, творить, созидать без страха перед запредельным, без страха перед "ничто". Бог для того и умер, убил Себя

во Иисусе Христе. Честь и хвала тому, кто способствовал этому! То был незаурядный человек, он первый понял то, до чего дошли лишь двадцать веков спустя! Оправдание, как видите, совсем не сложное. Об этом написаны уже сотни книг... Впрочем, вы все знаете, конечно. Но мне кажется, до меня еще никто так не систематизировал этого. Вы согласны? Ах да, осталось еще последнее, социологическое оправдание. Его законность однозначно проистекает из той же руководящей идеи. Мы сказали: познать самого себя, познать свою ограниченность, добраться до порога. О, это гениальная идея! Она одна дает уже не человеку, а человечеству в целом — надежду осуществить самые смелые проекты социального переустройства, воплотить самые грандиозные планы преобразования мира! В самом деле, почему проваливались до сих пор все великие начинания, почему переставали работать прекрасные теории, почему развеивались в пыль дерзновенные мечты блестящих мыслителей? Потому что люди не были доведены до своего порога, вот почему! Потому что частица свободной воли все еще оставалась в них! И она остается до тех пор, пока человек не хочет признать, что он конечен, не хочет исполнить предназначенного! Его можно давить, перемалывать, подкупать, можно жать на его совесть, а он все будет увиливать, лениться, халтурить, корчить ретроградные физиономии: "Господа, а не послать ли нам все это разом к чертовой матери?" ... Я утверждаю — поднебесные империи, тотальные системы распадались из-за халтуры, лени, расхлябанности сограждан! Трагедия в том, что эти расхлябанность и лень несут на себе для многих отсвет Божественной благодати! Отлынивая от работы, человек полагает себя сопричастным Богу, находит в себе образ и

подобие Божие. В свете вышесказанного очевидно, что такая позиция безусловно и абсолютно безнравственна! Рассматривая же в этом аспекте стратегию Иуды, мы должны признать его величайшим социальным реформатором всех эпох и народов! Ссылки на историческую неудачу его замысла ничего не доказывают! Замысел был великолепен! О, как жаль, что мы лишены этой возможности и вынуждены размениваться по мелочам! Здесь глубочайшая антиномия, порожденная его действиями: лишив нас живого присутствия Бога, Иуда лишил нас возможности повторить его подвиг!

Сумасшедший к этому времени уже давно раскрыл глаза и слушал.

— Молодец, молодец, сынок, — просипел он, пытаясь костлявой рукой дотянуться до Мелика. — На ком, значит, ты решил остановиться?

— ... Леторослев, Хазин, Целлариус, — догадливо сходу стал перечислять Малик, он не запнулся, не дрогнул, только внутри все горело, и жар этот, вырываясь из нутра, обжигал губы, — Пещерное совещание... Распределяли портфели... У меня все записано... У них есть связь с границей. Вы его видели, он еще напомнил вам кого-то...

— Отлично, отлично, — поощрил и джентельмен. — Давайте сюда листочек. Это что тут у вас такое? — попробовал он вчитаться, — ... поддерживал контакты с различными зарубежными так называемыми "комитетами прав человека" ...

— Это? Я не знаю... А, понял, — это, должно быть, наброски к предполагаемому заявлению Хазина! Я даже забыл, когда я это писал. Или нет, это, пожалуй, его почерк... не знаю... Но это не имеет значения, я помню и без текста. ... Антигосударственные тенденции отчетливо видны и в тех документах, которые мы нелегально распространяли

внутри страны и передавали для публикации за границу... Я поддерживал контакты с различными зарубежными так называемыми "комитетами прав человека" ... Возникает вопрос, кого же мы представляли, от чьего имени выступали? На этот счет не должно быть никаких сомнений — мы представляли только самих себя — маленькую группку, оторванную от советской общественности, выступающую против ее интересов...

— Ну что ж, как видно из вышеизложенного, — отозвался джентельмен, приятель сумасшедшего, — они должны быть привлечены к уголовной ответственности и осуждены вовсе не за то, как считают некоторые недоброжелатели Советского государства, что являлись инакомыслящими, вовсе нет. Они должны быть привлечены к уголовной ответственности в полном соответствии со ст. 70 ч. 1 Уголовного Кодекса РСФСР, то есть за агитацию и пропаганду, проводимую в целях подрыва и ослабления Советской власти, за распространение в этих же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также за распространение, изготовление и хранение литературы антисоветского содержания...

— Ну ... а ты? А тебя?! — замер сумасшедший; Мелику показалось, что рассудку вопреки тот был бы огорчен, если бы мятежники обделили сыночка должностью.

— Меня... обер-прокурором Синода... Серым кардиналом... — решил он потрафить отцовскому тщеславию.

Но он ошибся, сумасшедший был встревожен и расстроен:

— Вот это ты зря, — разволновался он. — Это ты зря, сынок. Нехорошо! Как же ты так?

— А что здесь такого? — легкомысленно рас- смеялся Мелик. — Я-то причем?

— Как это причем? — хмурясь, вступил джентель- мен. — Пойдешь под суд, вот и будет тебе причем! Ну, суд конечно учтет чистосердечное раскаяние...

— Чье?!

— Ты что дурака валяешь! — грубо оборвал тот. — Твое! Чье же еще?!

— Мое? Мое?! — Мелик был сбит с толку этим хамским тоном, совершенно неожиданным после того, как столько уже было сказано, и можно было предположить, что доверие обоюдно. — Мое? — повторил он, все еще надеясь, что недоразумение сейчас снимется.

— А ты что думал? — джентльмен стал еще наглее. — Что мы тебя по головке будем гладить? А начнешь дурака валять, так и на полную катушку намотаем!

— Погодите, — напрочь растерявшись, молил Мелик. — Я ничего не пойму... Разве... разве это имеет для вас значение?.

— Ты что, прикидываешься? Шутки шутишь?

— Нехорошо, сынок, нехорошо...

— Погодите!

— Нечего годить!

— Я вас прошу! Я хочу вас спросить...

— Суд учтет твое чистосердечное раскаяние...

— Ах, вот вы как? — Ненависть к этим тупым и жестоким болванам захлестнула его; секунду- другую он еще судорожно метался, ища убедитель- ные слова, которые должны были рассеять неле- пицу, но не найдя их, выверился, преследуемый сладким, мстительным ужасом: — Вот вы как?! Нет уж, не выйдет! Я вам не дурак, я все обмоз- говал до тонкостей! Не вый-дет! Вы все у меня вот где!

— Что ты сказал? — с угрозой переспросили джентльмен и сумасшедший.

— Вот то и сказал! Вот где! Мне кое-что известно такое, что гарантирует меня от неожиданностей!

— Что же например? — включились те, снова хором.

— А то, например, что кое-кто кое-для-кого содержит тайный публичный дом, например! Поставляет кое-кому девочек! Например, кому? Вам, вам! — он ткнул пальцем в джентльмена. — Вам! Вы что думаете, парик надели, лысину прикрыли, так я вас не узнал? Зубы надо было сменить! Зубы сменить позабыли! Особые приметы! Как еще вас только там держат! — (Здоровый глаз сумасшедшего медленно вылезал из орбиты.) — Вы что думаете, я не знаю, на чьи деньги Лев Владимирович покупает дачу? Для чего он ее покупает? Но ведь вы не самое главное начальство! Над вами есть и повыше! Если меня возьмут, вашему начальству тут же станет известно! И не только вашему начальству, есть и другие инстанции! В надежных местах я уже оставил письма. Есть и тетрадоочка, где все записано: Валя, Маня, Галя... Сработает автоматически! Возмездие с того света! Вы у меня...

Он отпрянул, потому что с сумасшедшим стряслось что-то страшное. Лицо исказилось несусветной злобой, он даже подпрыгнул на постели, выбросив вперед руку, чтобы впиться Мелику в горло мертвой хваткой.

— Вр-р-р-ешь! — харкая кровавой слюной, прохрипел он. — Вр-р-р-ешь! Клевещешь! Клевещешь на наши органы? Вон отсюда! Во-о-о-н!

Мелик попятился, еще лепеча какие-то увещания, а потом откровенно ударился дробной рысью по коридору.

Сзади широко разинув сияющую золотую пасть, хохотал джентльмен.

У самого выхода на лестницу, за столиком, принявши облик дежурной сестры, сидел белоголовый. Мелик шархнул в сторону, но тот свободно пропустил его, не подняв сонной головы от амбарной книги.

— Ну вот и хорошо, — шептал Мелик уже в вестибюле. — Вот и хорошо. А то комедия затянулась. Что это я вообразил себе? Это была ведь всего лишь комедия, шутка, верно? Теперь камень с души... Не то натворил бы я дел... Кажется, и джентльмен отнесся к этому лишь как к шутке. И не похож он вовсе на того, который был у Льва Владимировича... И этот не похож на белоголового, это была сестра. Что это я вообразил себе?.. Жаль только бедного моего психа, он от волнения теперь совсем загнетса... Ну, да ничего, дружок объяснит ему, что это была шутка. — Мелик прислушался: ему показалось, что смех джентльмена все еще доносится сюда с третьего этажа. — Нет, все вздор! Теперь отоспаться и... в церковь!

Дома он, однако, работал напролет всю ночь и все утро до полудня, переписывая и отделявая свой опус об Иуде, и лишь затем прилег.

Он думал, что ложится на час-полтора, не более того, но проснувшись, понял, что провалялся почти сутки: он помнил, что ночью просыпался, что кто-то ломился в дверь, которую он предусмотрительно запер, и что каждый раз он хотел встать, но не мог оторвать голову от подушки.

Он поднялся, оделся, спрятал рукопись под рубашку на тело и вышел на улицу.

Ольга была бледна, глаза ее опухли. Открыв дверь, она кинулась Мелику на шею.

— Куда ты девался? Разве так можно? Я была у тебя три дня назад, во вторник. Тебе не передавали? Я зашла еще просто так, мимо шла, дай, думаю, зайду. Что-то на сердце было беспокойно... Боже мой, я как чувствовала, как чувствовала!.. Она истерически зарыдала. — Ты что — прятался, скрывался? Ты предполагал, что это произойдет? Ты тоже с ними связан? Я вижу, вижу! Я так надеялась, что нет! Неужели у тебя не хватило ума? Тебе это зачем? Ты — в Боге. ...Слушай, — заговорила она, чуть успокоясь, — тебе надо действительно что-то предпринять. Только что заходил Хазин, он считает, что этот обыск у него был, так сказать, предварительным. Что завтра — вслед за Львом Владимировичем — возьмут и его. Он говорит, что Льва забрали по делу о каком-то публичном доме. Трофим, шофер, рассказал, он там присутствовал. Они хотят устроить "амальгаму", понимаешь? Подумать только: Левка вчера днем звонил, пьяненький, давай, говорит ко мне, я гуляю! А через пять минут за ним уже пришли. Хороша бы я была! А я не пошла, что-то устала, надоело пить, и так каждый день то гости, то я в гостях. Представляешь: в один день арест и обыск! Они бьют по нашему квадрату! Ты из дому, надеюсь, все вынес? Надо немедленно все подчистить. Я уже вызвала мать, все, что у меня было, переправила ей... Что ты смотришь? Я думаю, вряд ли у меня прослушивается. Вряд ли. Все-таки это, мне говорили, очень дорого. Слушай, мне кажется, тебе на время надо совсем уехать из города. У меня есть деньги, хочешь? Бери, не отказывайся. Исчезни на месяц-другой. Езжай в Крым, сейчас там уже хорошо. О деньгах не думай, я вышлю еще. Может, сама к тебе приеду, хочешь? Не беспокойся,

это никакая не жертва. Слушай, а то... езжай в Покровское! Вот это идея! Отсидишься там, пока все не выяснится. Только не вылезай, по ночам выходить будешь, воздухом дышать. Как там, должно быть, хорошо! Одиночество. Только Бог и ты. Я бы тебе еду привозила. Да и тетка твоя хоть и сумасшедшая, но не настолько уж, чтобы тебя не подкормить. Кто тебя там догадается искать. Езжай, не медли!

— А как ... Таня? — пошевелил он губами, голоса не было.

Ольга немного сникла.

— Ах, вон ты о чем беспокоишься? — сказала она, становясь прежней. — Как же! Звонила ее мамаша. Говорит, Танька в ужасном состоянии. Была затяжная истерика этой ночью. Три раза вызывали неотложку. Те приехали третий раз, говорят: ей надо не неотложку, а психовозку, в следующий раз так и сделаем!.. Ты меня извини, не могу я ее сейчас жалеть. Не могу я ей простить, что она сделала с Левкой! Это, конечно, все из-за нее, все! Это она его довела, из-за нее он все эти годы так бесился!..

— А Леторослев?

— Что Леторослев? ... Не возьму в толк, этот дурачок здесь при чем? Или, ты считаешь ... он был связан с ними тоже? Господи помилуй! Неужели у них была-таки о р г а н и з а ц и я ? ! Ужасно! А ты, а ты? Неужели они впутали и тебя? Зачем тебе это, зачем?.. погоди, ты что — уходишь? Куда?

На пороге он обернулся:

— Слушай, — он достал из-под рубахи смявшуюся рукопись. — Эти листочки мне очень дороги. Сохрани их, ладно? Если со мной что-нибудь случится, положи их мне в гроб!



# Памяти Ольги Анстей

”ДУША ПРОСНУЛАСЬ...”

*Памяти русской поэтессы Ольги Анстей*

”Душа проснулась...” — так начинается первое ее стихотворение из цикла ”Живые камни” в сборнике избранной лирики, вышедшем в Нью-Йорке в 1976 году. Душа ”рванула нить”, читаем мы дальше в том же стихотворении, и вот она ”одна на лунном перекрестке”, новым видением, освобожденным от земной суеты, постигает, ”что камни в этом городе живые”.

Здесь Ольга Анстей как бы предиспытывает опыт смерти, подтвержденный рассказами клинически умерших и затем постепенно вернувшихся в человеческое сознание; предчувствует она дальнейшее бытие человека тотчас же после смерти, освобожденного от тела — в новом всеобъемлющем постижении земной жизни, увиденной из бесконечного — у Ольги Анстей это так же и ощущение одушевленности неодушевленного в мире нашем, как ее ”камни в этом городе”.

”Этот город” был для Ольги Анстей Киевом, где родилась она 1 марта 1912 года, был он и Мюнхеном, куда бежала она через Прагу в 1943 году со своим мужем Иваном Елагиным, большим русским поэтом, и где проживала с 1946 по 1950 год, был он и Нью-Йорком, где работала она переводчицей в ООН с 1951 по 1972 год и где, окруженная заботой дочери Елены Матвеевой, скончалась 30 мая 1985 года.

Я познакомился с ней 8 января ее последнего года. Была она уже отмечена смертью, к смерти готовая. Я ощутил угасающее мерцание блеска этой одаренной поэтессы, находясь в естественной импровизированно-гостеприимной

атмосфере, привезенной из России всеми эмигрантами оттуда.

Ольга Анстей принадлежала ко второй волне эмиграции, которая покинула родину вместе с немецкими войсками, избежала насильственной репатриации, собралась во Франкфурте или в Мюнхене и затем, в большинстве своем, эмигрировала в Соединенные Штаты.

В Мюнхене с 1946 года Ольга Анстей начала печатать свои стихи (тогда же появилось в печати ее хорошее эссе о Пастернаке), а в 1949 году вышел первый ее сборник стихов. С раннего детства тяготела она к стихотворному словесному выражению, однако советские условия заставляли ее молчать. Она писала "в ящик" — при Сталине ведь не было "Самиздата".

Знание английского, французского и немецкого языков обеспечили ей работу в Нью-Йорке при ООН. Оно дало ей также возможность перевести с этих языков на русский некоторые стихотворения Рильке, Хаусмана, Честертона, Теннисона. Главный ее переводческий труд, как и ее к тому времени бывшего мужа (они развелись в 1950 году), это перевод Стивена Винсента Бене: она перевела его повесть "The Devil and Daniel Webster" (1960), Иван Елагин перевел большую эпическую поэму Бене "John Brown's Body" (1979).

Из того напечатанного, что регулярно появлялось в периодических изданиях, собрала она второй сборник стихов (1976) "На юру", — на открытом возвышенном месте, — это название соответствует ее мироощущению. "Безбольной радости... / На этом свете нет". Эти стихотворные строчки можно сопоставить с другой, не менее значительной строчкой: "Мы в руках живого Бога". Именно эта убежденность русской православной христианки дала ей возможность перенести, переплавив в поэзию, потерю родины, одиночество, уродливое в человеке, мрак, боль и бездушие. К этому следует добавить, что стихи ее тщательно отработаны, экономны в повторениях, осознанно традиционны и многослойны в выражении. Они излучают положительный свет, поучающий жизни.

*Вольфганг Казак*

Ниже мы печатаем перевод стихотворения Оскара Уальда "Flower of love", сделанный Ольгой Анстей за шесть месяцев до смерти.

Оскар УАЙЛЬД

### ЦВЕТOK ЛЮБВИ

Друг — упреков нет: я сам виновен,  
Если б я не так, как все, страдал,  
Поднялся б к вершинам недоступным,  
День полней и шире увидал.

Из моей опустошенной страсти  
Я сковал бы верный чистый звук,  
Чтобы пламенеть вольнее воли,  
Биться с чудищем когтистых рук...

Если мука вылилась бы в песню  
С губ моих, придавленных в крови, —  
Ты б ходила, с ангелами, с Биче, —  
На лугу нетронутой любви.

Я б тогда пошел дорогой Данте —  
На семь солнц — в сияющих кругах.  
Мне б, как Флорентинцу, мог открыться  
Свет зари в небесных воротах...

И тогда б народы увенчали  
Скромного, безвестного меня...  
Я б склонил колени в Храме Славы,  
В полосе восходного огня.

Я б сидел на мраморных подмостках,  
Где равны душой и стар, и юн,  
Где свирель исходит сладким медом  
И стекают звуки с лирных струн...

Китс отвел бы кудри из фиала  
Макового брачного вина,  
Амброзийным ртом чела коснулся,  
Сжал бы руку, что была верна.

А весной, когда летит цвет яблонь,  
Задевая перья голубей —  
Двое юных в зарослях плодовых  
Повторили б повесть наших дней.

И прочли б сказанье нашей страсти —  
Горькой тайны несказанной тьмы,  
Повторили б наши поцелуи,  
Но не разлучились бы, как мы...

Ибо червь, грызущий цвет надежды,  
Подточил побеги корешков,  
И никто не соберет увядших  
Свежей розы первых лепестков.

Нет — не жаль, что я любил и плакал:  
Что я мог? И что я, мальчик, смел?  
Время гложет, годы убегают  
И скользят бесшумно за предел...

Без руля, несет нас по теченью,  
И, как буря юности пройдет —  
Без хорала, без напева лютни —  
Смерть, безмолвный кормчий, руль берет.

А в могиле нету утешенья:  
Роеч червь и капает вода,  
И желанье сыплет серый пепел,  
Древо страсти не дает плода.

Что я мог? Любить тебя — и только...  
Не была родней мне Божья Мать...  
Не могла Киприда драгоценней  
Серебристой лилией сиять!

Выбор сделан, песни перепеты.  
Догорела юность до конца.  
Предпочел венок из мирт любовных  
Я лавровому венку певца.



## СТИХИ

Памяти В. В. Набокова

### СТАНСЫ

*And then the gradual and dual blue,  
As night unites the viewer and the view.*

*В. Набоков, "Pale Fire"*

#### 1

Есть некий дар, не большой из даров —  
как бы расположение шаров,  
почти бильярд, но если сразу сто,  
задетые одним, летят в ничто.  
Мой бедный друг, воображаешь ты  
корзину беспримерной пустоты? —  
Ничуть не так. Вот замысел игры:  
его объем есть острие иглы.

#### 2

Дремучая зима. Солнцеворот.  
Когда мороз свою лучину жжет.  
Суровое созвездье-полуконь  
стоит, нацелясь в низовой огонь

огнем другим — и чу! свистит стрела.  
И чучело альпийского орла  
за перевалом брэнности земной,  
словно рожок, беседует со мной.

3

Как странно: быть, не быть, потом начать  
немного быть. Сличать и различать,  
как бабочка, летающий шатер  
с углом и лампой, с линиями штор,  
кончать одно и думать о другом,  
как облако, наполнить целый дом,  
сгуститься в ларчик, кинуться в иглу —  
и вместе с ней скатиться в щель в углу.

4

И триста лет лежать себе в пыли —  
и вдруг звучать, как бой часов вдали.

5

Неслышимая музыка звучней.  
Собрав мирьяд разрозненных лучей,  
она для нас играет за углом  
огромным зажигательным стеклом.  
И нравится ее простая весть  
о том, что все не здесь — и снова здесь,  
что искрится хрусталик слуховой,  
как снежный порох в бездне меховой.

6

Что это, арфа, клавиши? Мой друг,  
ничто нам не напомнит этот звук.

То в Альпах непроглядная пурга.  
То легкий дух трубит в свои рога.  
То дух созвучий, двух и снова двух —  
и тот далеко отлетевший дух,  
который наполняет этот стих,  
как фульский кубок в глубинах морских.

7

Среди старинных стесанных монет  
и денег государств, которых нет, —  
дукатов, и цехинов, и гиней —  
среди всего, что умный казначей  
собрал по свету и послал назад,  
где все сочтет подводный нумизмат, —  
дух говорит, как клады из волны,  
изъеденные солью глубины.

8

Клянусь, и дар, и несравненный труд,  
пустой и всевмещающий сосуд,  
который сохраняют времена  
для некоего нового вина, —  
мы берегли ревнивей, чем король  
из неизвестной Фулы. Только соль  
возьмет его, когда я предпочту,  
как пустота, увидеть пустоту.

9

Затем что, замирая перед ней,  
живая плоть исполнена теней  
или видений: дуя на ожог,  
бессмертие играет, как рожок.  
И сладостно меж образов своих,

шаров, шатров и коридоров их,  
существовать. Но сладостней всего —  
уйти из них, не помня ничего.

10

А эти все, кто мучает других,  
кто скверными губами скверный стих  
разжевывает, кто сует в гробы  
учебники рабов: "Мы не рабы" —  
кто хочет зла, как будто зло — еда,  
и сам себе отвратен навсегда,  
и выветрится, как кухонный чад, —  
мне жалко их. Но пусть они молчат.

11

Никто не знает, где он будет жив,  
и где живет, разлуку разложив  
на колебанья зрительной волны  
фосфоресцирующей глубины,  
как дух и тень. И все соединит,  
и все рассыплет: царственный магнит,  
дар привлекает множество даров  
и катится, как ливень из шаров.

12

Так выпьем кубок, сложенный, как соль,  
за эту жизнь, похожую на боль  
и все же — на пастушеский рожок.  
За дальний звук, который ум зажег  
и сердце отогрел — и не могло  
перемениться смутное стекло.

Еще за то, что мы прискорбно злы.  
За милосердые — острие иглы.

Михаил ХЕЙФЕЦ

## Путешествие из Дубровлага в Ермак

*Р. Глаголевой и Н. Гессе*

### ОТ АВТОРА

Путевые заметки ссыльного этапника были написаны мною в месте ссылки — в городе Ермака, Казахской ССР. Первая часть — "Россия" — в 1978 году, вторая — "Казахстан" — в 1979 году. Первую часть я позднее получил в Израиле, куда приехал сразу после окончания ссылки, вторая же до меня так и не дошла. Где она — не знаю. Разумеется, сегодня я бы многое написал в "Путешествии" по-другому: кое-что по-иному сейчас осознаю, о чем-то узнал побольше фактов, с кем-то познакомился за эти годы получше. Но переделывать эту старую рукопись мне не хочется: она была написана там и тогда, и ее главное, если не единственное достоинство в моих глазах — довольно точный отчет о мыслях и чувствах обычного российского интеллигента конца 70-х гг., хотя и попавшего в не совсем обычную ситуацию. Поэтому, слегка отредактировав ее стиль, я выношу ее на суд читателей, именно такой, какой она была тогда написана\*.

---

\* Отдельные эпизоды из первых двух глав уже появлялись в различных русско-язычных изданиях. Здесь печатается окончание этих записок. — Р е д.

РУЗАЕВСКАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА —  
ПЕРЕКРЕСТОК МОРДОВСКИХ ЗОН

22 апреля — 6 мая 1978 года

*Нехорошие мысли о советских хулиганах*

В вагонзаке-”стольшине” меня поместили в одну камеру с уголовниками-”бытовиками”.

В принципе это запрещено делать, причем двукратно: нельзя держать вместе особо опасных политиков с идейно неиспорченными убийцами и грабителями, и, кроме того, нельзя соединять заключенных и ссыльных. Инструкция, с точки зрения властей, вполне разумная: агитаторов отсекают от обиженной и решительной массы, преимущественно рабочего люда. Но мест в переполненных вагонах не хватает, и конвой пихает политиков в любую свободную ячейку.

Если правозащитник протестует против этапа вместе с хулиганами и ворами, он, случается, добивается своего: его цели, как ни парадоксально, случайно пересекаются с целями начальства. Несокрушимый Вячеслав Чорновил на каждом переезде до Якутии писал заявления начальству и доехал-таки до Чаппанды без уголовного соседства\*. Но я — не правозащитник, а писатель, мне

---

\* Вдобавок Чорновил всегда требовал, чтобы его не держали на этапе больше 10 суток — по инструкции, и добивался этого. Только в Якутии его держали дольше: никак не умели качественно установить ”подслушку” на приготовленной ему квартире. Вячеслав ”обнаружил ее мгновенно и устроил жуткий хай ”ленинским гебистам” (из письма ко мне. Район, где он отбывал ссылку, называется Ленинским).

интересны новые люди, неизвестные впечатления — и потому я пренебрегал борьбой за советское право. Если честно признаться, была еще одна причина: не могу просить у властей ничего, что покажется им "поблажкой", пусть законной. Враг, насильник и палач есть враг, насильник и палач. Когда добиваюсь от него "прав", в своих глазах как бы признаю его способным соблюдать право в принципе, т. е. признаю государственным мужем, а не обыкновенным бандитом, исхитившим казенную печать. Словом, на жалобы в защиту своих личных прав я обычно жалел тратить пасту из шариковой ручки, тем более — на этапе. (Протесты идут по другой рубрике, их я писал — было дело.)

... Все купе для эзков отделены от коридора, где прохаживается охрана, косой металлической решеткой, так что солдатикам мы должны напоминать зверюшек в зоопарке. Три обычных ряда полок, но второй ряд с помощью складной доски может превращаться в своеобразный промежуточный потолок над нижними сиденьями, и на нем лежат иногда пять человек! Верхние, багажные полки тоже заняты людьми — и с помощью этих уловок стандартное вагонное купе вмещает 12—15 человек.

Как мужик с опытом, я, едва вступил в клетку, сунул чемодан вниз, под полки, а сам с рюкзаком (будущая подушка!) взлетел мартышкой под потолок, на багажную полку. Самое удобное в "стольшине" место: она узкая, делить ее ни с кем не придется, спать можно лежа, а не сидя (как спят обитатели нижних мест), в общем, ловко устроился!

Через минуту багажную полку напротив занял парень лет 20-и, с лицом напористого хулигана.

Бывают лица, ясные с первого взгляда... В тот момент, однако, оно искажалось бессильной яростью, тело подергивалось на полке, как у игрушечного паяца на ниточке — от злобы, от желания "врезать". В уголках глаз подозрительно поблескивала капля: только что конвой отобрал у него самодельные лагерные авторучки.

Грязный мат изрыгался красноватым ртом. Парень выходил за проволоку, на "условное освобождение" и вез (по его словам) ручки-сувениры в подарок родителям. И вот привычно ограблен сверстниками в солдатской форме: никто не составлял акта о конфискации, ручки просто перешли в карманы тех, кто оказался в данную минуту по сильнее.

По российской традиции в этом месте рукописи полагается выразить сочувствие соседу и возмутиться эмведистскими грабителями. Как говорил Дон-Кихот: "Дело странствующих рыцарей помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости". Нормальные писатели всегда в России так и поступали.

А мне не хочется забывать про мерзости обездоленных: слишком дорого дон-кихотский опыт стоил нашим предшественникам.

Хорошо помню, о чем думал тогда, на багажной полке, под аккомпанемент соседского мата и голосов бойких торгашей где-то внизу (нижний ряд уговаривал караульного купить пронесенный через обыск довольно изящный медальон-самodelку: "Да ты не п..и сержанта, дурень, он свою долю получит! Всего за пачку чаю — погляди, какая вещь. А нам зажувать надо..." и т. д.)

На моем месте новичок настрочил бы о ненависти к власти со стороны молодых рабочих, миллионами проходящих через гулаговские интернаты. Живой

их представитель материл тут всех, начиная с лысого педераста (так он почему-то обозначал В. И. Ленина) или Героя Малой Земли и кончая "е...м прапором", который важно шествовал по коридору. Каких еще ждать доказательств его антисоветской настроенности?

Но такое заключение, думалось мне, и есть типичная арифметическая ошибка.

Конечно, если власть ослабеет, о, тогда гулаговский молодец себя покажет. Он станет первым революционером, найдя для своей природной агрессивности и мести подходящую идеологическую курточку. Тогда годы уголовных лагерей будут изображаться наказанием за "эксы" и "протесты". И уж он-то обдерет бывших угнетателей — партработников, юристов и т. д. не машинально, как его самого сегодня солдатики, а с ретивостью и злобой установителя мирового правопорядка.

Но это — *если...* А пока что советская жизнь твердо впечатала в его вечно алкогольное сознание: сила может делать что угодно, как угодно и с кем угодно. А власть — это сила. И если такая кодла, как власть, захочет принять его, пьяницу и разболтанного распустеху на службу, он станет служить ей с ревностью и пылом.

По странной ассоциации хулиган вызвал в памяти кумира моей юности — И. В. Сталина. Уникальный был социальный негодяй, но и большой политик современности, не то что придурковатый в XX веке его партнер по переговорам м-р Иден или собственные коллеги Сталина по ленинскому ЦК. Он понимал реальности своего мира. В частности, помнил про моих соседей по вагону. Он научился использовать миллионы уголовников для достижения важнейших целей не только внутренней, но и мировой политики.

Конечно, к началу войны с Гитлером молодые идеалисты России, как и почти всех стран Европы (кроме Германии и немногих ее искренних союзников, вроде финнов) встали под знамена Сталина: фюрер не оставил им выбора. Но идеалистов не хватало для победы (их всегда и всем не хватает). И Сталин мобилизовал на службу гулаговскую уголовную гвардию. Все было организовано по-блатному: кто не хотел воевать на пахана, тех "мочили" (расстреливали). Кто отступал — тех тоже расстреливали. Пахан — это же сила! И когда озверевшие в ствольпинских вагонзаках урки, прошедшие отбор на выносливость голодом и холодом, научившиеся на этапах бить первыми, чтобы выжить и, чтобы выжить, никого, кроме охраны, не бояться — когда сотни тысяч блатных гвардейцев Иосифа Сталина обрушились на солдат вермахта — это сокрушало даже немецких солдат.

Но вот молодчики вошли в пределы Германии, и пахан лично отпустил пружину воинской дисциплины. Грабежи, насилия — это доля коdle от пахана за ее участие в деле. Как и положено по воровскому закону! Он сам объяснил свой приказ наивному югославу Джиласу: "Мы пустили в армию уголовников... Я не вижу беды, если солдат *побалует* с женщиной"...

Кодла и до сих пор чтит память пахана — больше, чем знаменитого бандита 20-х годов Леньки Пантелева. В Ермаке, где я живу, десятки шоферов — бывшие зэки-уголовники и десятки грузовиков и автобусов украшены портретами Сталина... Он их понимал, атаман!

И мы с пути кривого ни разу не свернем,  
А надо будет — снова пройдем кривым путем.

Проклинающие власть гулаговские молодчики — это не реальная угроза Советам, а, как ни парадоксально внешне, их резерв, социальная подпочва и серьезная надежда на будущее.

### *”Химия” и ”химики”*

Так размышлял я, лежа на багажной полке вагонзак. Но через час выяснилось, что купе — это ”шлюз”, куда наспех загнали партию потьминского рабскота. А в дороге конвой залез в ”дела” и начал сортировку нашего гурта по режимам — как положено.

Меня перевели в обычное полукупе в конце вагона. Всегда ездил там один или с политиками. На этот раз в нем сидела компания бытовиков.

Представился: ”Михаил. Статья 70-я”.

Раньше, когда так представлялся через стенки вагонзак, всегда спрашивали: ”А что это такое?” На этот раз новый сосед, мужчина лет 28—30, с приятными, закругленными чертами лица и соломенными волосами, восклицает: ”О, какая редкая статья! Политик! Приятно познакомиться!”

Свои статьи соседи назвали без пояснений, как само собой известное каждому: ”145-я” — назвал интеллигентный знаток семидесятки; ”144-я” — пояснил про себя мордастый здоровяк, явный вожак бытовой компании. Решаюсь обнаружить свое постыдное невежество и тихо спрашиваю: ”Что такое 144-я” — ”Грабеж”. — ”А Ваша, 145?” Он вздыхает почти со стоном: ”Разбой”.

Все они москвичи, все ”химики”, то есть ”лица, условно освобожденные из мест заключения с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства”, и все — беглецы с ”химии”.

Бежали к семьям, в Москву, были пойманы и сейчас этапированы обратно в Мордовию. Поэтому одеты не в робы, а в гражданские костюмы, носят длинные волосы и совершенно запрещенные в зонах бороды.

Терминологическое отступление: откуда взялись слова "химия" и "химики" в таком специфическом использовании?

В этих терминах сохранилась в народной толще память об одном из многочисленных починов Никиты Хрущева. Давно забыты "царица полей кукуруза" и "елочка" в животноводстве, торфоперегнойные горшочки и органо-минеральные компосты, картинная галерея имени Ленина вместо Третьяковки и Пантеон вместо мавзолея (а жаль!). Но "Стройки большой химии" народ запомнил: тогда впервые в разудалых по-хрущевски масштабах использовали так называемое "условное освобождение с привлечением к труду". Отсюда и "химия".

Рабский труд не слишком выгоден Хозяину: месяцы рабочего времени бесполезно съедаются следствием, судом, этапами на нужную стройку, месяцы идут на переобучение (вопреки инструкции эки работают не по специальности). Качество же рабской продукции справедливо оценивал еще Цицерон... МВД всего этого не замечает, как в XIX веке плантатор-южанин в США не осознавал общественной убыточности рабского труда. Сам-то он имел прибыль. Но экономист, способный видеть проблемы хозяйства шире счетовода, знает гигантские минусы консервативной рабской системы. Вот черточки ее по нашей зоне ЖХ385/19: станки — чаще всего довоенного, 30-х годов, выпуска (лишь несколько — 40-х годов); рельсы, по которым из цеха в цех перевозили детали, сырье, продукцию, имели клеймо "1889 г."; при мне смонтировали

мостовой кран для разгрузки вагонов с древесиной, но он бездействовал, все грузилось ночами вручную... А ведь зона нетипичная: в ней нередкость добросовестные рабочие. Что же происходит в зонах бытовиков\*?

На моих глазах первая забастовка была организована на швейной фабрике в зоне ЖХ385/17а латышом Гуннаром Роде 15 апреля 1975 года. В числе лозунгов бастующих сформированный Роде протест против *"невыполнимых норм"*. Когда впоследствии я сам научился шить рукавицы, то выполнял *"невыполнимую норму"* за два часа до окончания рабочего дня, а ведь я — плохой швей-моторист. Зорян Попадюк или Валерий Граур спокойно могли делать невыполнимую норму до обеда... При этом мы пили чай, беседовали (в слесарке, под подслушкой ГБ) и т. д. Но Гуннар Роде, который не вставал от машинки с начала и до конца работы, не мог вытянуть норму. Ибо он делал *качественную* продукцию. По-советски тят-ляп аккуратный прибалт работать не выучился: у них социализм установился лет на 30 позже, чем в остальной Российской империи. Земляк Гуннара, Фрицис Клява, чтобы выполнить такую же норму, приходил в цех на час раньше развода (по особому разрешению начальника зоны) и вечером подрабатывал на нее же: зато рукавицы выходили — *"хоть в Монреаль посылай"*, как шутил бригадир. Но кроме прибалтов, мучеников качества, так не ра-

---

\* Примечание, сделанное два года спустя, уже в Израиле. В Иерусалимском университете я познакомился с публицистом Нафтали Пратом, который сидел в нашей зоне в 1956—1960 годах. "Что Вы делали на заводе?" — спросил я его. "ЧГ—11 (часы гиревые — 11 образец). — "И мы тоже". Двадцать пять лет спустя завод выпускал ту же модель часов — вот что такое рабская система.

ботал никто. Мы, политики, еще считались образцовыми мастерами: в соседней бытовой зоне работы давали по три нормы, но когда однажды их продукцию пробовали *продавать* населению в единственном магазине страны (кажется, в Костроме), пришло такое количество плюющихся писем даже от привычных провинциальных покупателей, что через месяц идею продажи рукавиц абортировали. Рукавицы, перчатки, роботы — все по-прежнему пошло из нашей зоны в соседние и дальние лагеря и приносило "прибыль", и зона ЖХ85/17а шла всегда в числе передовых. Боюсь, что на этом примере раскрываются секреты успехов не только гулаговских отраслей советской экономики.

Создание консервативных, отсталых зон рабочего труда в прошлом вовсе не являлось чьей-то недальновидной глупостью. В условиях, когда они возникли, зоны безусловно имели общественный смысл. Прежде всего, их целью было поставлено уничтожение идеологически сомнительного человеческого материала, а не достижение экономической выгоды. Но и чисто экономически в 30-е годы они приносили определенную выгоду.

Во-первых, тогда требовался в огромных количествах ручной неквалифицированный труд (землекопы, лесорубы, горняки), чтобы добытое кайлом и топором сырье экспортировалось в Европу, а оттуда ввозить продукцию высокоразвитой техники. Во-вторых, основную массу эков составляли тогда крестьяне, а не уголовники, то есть люди, труд которых являлся добросовестным в силу жизненной привычки (вспомните солженицынского Ивана Денисовича, который вкальвует на зоне изо всех сил — втайне от товарищей! Иначе он не может, иначе ему тяжело жить...). Мое знакомство с Роде, Клявой и другими "осколками

минувших эпох” заставляет верить в жизненность этого внешне неправдоподобного эпизода.

Наконец, зона рабов давала возможность Хозяину, ГУЛагу, быстро сосредотачивать потребные массы тружеников в запланированных, хотя бы и непригодных для жизни, отдаленных местах неосвоенной и запустевшей империи.

Но прошли годы, развивалась техника. В СССР появились свои сложные станки, свои ЭВМ — перво-степенное значение неквалифицированного труда отпало. Падение нравственности в результате ”раскрестьянивания”, войны, иных социальных событий имело и побочный эффект: оно лишило качественности гулаговскую продукцию. А неуемные человеческие аппетиты армии и МВД вызвали нехватку рабсилы на предприятиях нестройбатовского и негулаговского подчинения. Кажется, армия насчитывает около 4-х миллионов солдат и плюс минимум два миллиона молодых людей числится за ГУЛагом. (Ныне интеллигентно переименованным в ГУИТУ — Главное управление исправительно-трудовых учреждений.) Говорят, раньше в армии и ГУЛаге было еще больше народу. Такое перекачивание шести миллионов пар мужских рук (и в армии, и в ГУЛаге главный ”контингент” — мужчины молодого возраста) из обычного хозяйства в трудовые и боевые армии чувствительно даже для обширного советского государства.

Возникали демографические ”перекосы” (по подсчетам демографов, в 1977 году в СССР на 170 невест приходилось всего 100 женихов, как после страшной войны, хотя при рождении численное равенство полов примерно одинаково: женихи служат в ГУЛаге и армии!), но я имею в виду экономический ракурс проблемы: на заводах и фабриках многих областей страны (например, на ”ин-

дустриальной целине”, как назвал Мордовию ее партийный босс Березин) возникала острая нехватка вольнонаемных рук, в то время, как ГУЛаг не знал, как занять работой посаженные кадры. Прежде всего, не хватало людей на малооплачиваемых и трудоемких работах.

И тогда у экономических советников Хрущева возникла идея ”условного освобождения с привлечением на стройки Большой химии”... Часть зэков отвезли в нужные Хозяину пункты, освободили из-под стражи, поселили в общежитиях (те же бараки!) под надзором милицейских комендатур и направили на вольнонаемную работу, куда не шли обычные работяги, не-зэки, из-за низкой оплаты или особой тяжести труда. Теперь зэк сам себя кормил, мог встречаться с семьей или девушками, переписывался без ограничения числа писем, мог ходить в радиусе 20 километров без стражи, а начальство получило нужные ему кадры в любых рабочих заведениях.

Система оказалась выгодной, и поэтому число ”химиков” и процент их в массе з/к увеличивался с каждым годом. Вольнонаемный труд доказал свое преимущество перед рабством, а единственное преимущество рабской организации — мгновенное собирание нужных рук в нужном количестве и нужном месте — сохранялось и при системе условного освобождения.

Система стимулировала хороший труд не только на ”химии”, но и в зонах: призом за перевыполнение норм и безупречное поведение становились не деньги (в зонах они никого особо не интересуют), не угрозы карцером (от них легко избавиться 100%-ми нормы и низким качеством). Призом стала свобода — пусть неполная.

Условное освобождение, в сущности, напоминает

очень строгую ссылку, поэтому, видимо, конвой поместил меня в вагонзак к "химикам".

С 1976 года "условное освобождение", наконец, распространили и на политические зоны (После отбытия 3/4 наказания"). Но целый год (!) администрация не выполняла Указ. Однажды "старички"-военные преступники спросили майора МВД из политотдела Тархова:

— Президиум Верховного Совета издал закон. Будут его исполнять?

Майор брякнул (это происходило при мне):

— Придет разнарядка — будем исполнять закон. Не придет — не будем.

Вот и все с законом. (Через год с четырех мордовских политзон освободили условно восемь человек — шестеро "военных", беглеца за границу и "бытовика-политика".)

...И все-таки об "условном освобождении", где можно наесться вволю, мечтают в политзонах. Но, разговорившись в вагонзаке с уголовниками, я понял, что они, кто пользуется "химией", ценят ее блага крайне низко.

Объясняли так: полуволя часто хуже неволи. Доступны ножи, девки, водка, живут блатные совместно — и не в силах удержаться от новых преступлений. Кто не хочет пьянствовать и резать ножом — тех заставит воздух "хазы", "малины" или как ее там "по фене ботают"? — так называемого общежития. Типичный бытовик почти обязательно совершал новое преступление или хотя бы проступок и снова водворялся в зону, причем в наказание срок на "химии" не учитывался при исчислении срока приговора.

Возник неожиданный эффект. Оказавшись в общежитии, бытовики стали сразу уходить в побег. (Именно таких беглецов я и встретил на этапе

Потьма-Рузаевка). Все равно рано или поздно снова посадят, так надо успеть погулять! Бывало, что, отдохнув на юге, у моря, бытовики и сами возвращались в зону, к воротам: спасибо за отпуск, хватит, поистратились, теперь можно с легкой душой и срок досидеть.

Но "химия" выгодней зоны, и власть вовсе не устраивало легкомыслие советских хулиганов и грабителей. МВД приняло меры...

— Теперь так, — объяснял неформальный лидер компании, грабитель: — выполнил на "химии" норму — день твой, в срок его считают всегда. Даже если в побег ушел, а норма была — день твой, все идет в приговор.

Как-то, между прочим, успокоил он юношу, умиравшего от желания помочиться (прошу прощения за физиологию, но ведь ехали живые люди — в клетке!):

— Терпи, приедем в Рузаевку, из общаги машину пришлют — и мы дома.

— А вдруг на ночь на пересылку сунут? — спросил разбойник, оказавшийся "в миру" обычным парикмахером.

— Должны в общагу!!

И только тут я "врубился", что они уверенно ждут не возвращения в лагерь *после побега*, но — не сомневаясь! — возвращения в свое же общежитие условников.

— Новый указ вышел: с "химии" сбежал — на "химию" возвращают. Прикатим в общагу, пару деньков с ребятами погуляем, и можно в Москву на первое мая успеть.

Парикмахер, он же разбойник, немного сник: он побаивался неистребимой решительности шефа-грабителя, но противостоять напору грудастого

покровителя не умел. В побег — так в побег, что поделаешь.

Постепенно разговор переключился на "прописку" — единственный вроде бы вопрос, волновавший беззаботных советских людей.

— Вас могу обрадовать, — деликатно включает меня в общий разговор парикмахер, — Ленинград с этого года открыл прописку для эков... (я не стал объяснять ему разницу между обычным преступником и мной, "особо опасным государственным"!)

— ...а москвичам трудно. После зоны направляют в Енисейск. Поживи там год-два, тогда и в Москву. Хорошо, если молодой да холостой, а если, как я, семейный и семья в Москве...

Тут я вклинил вопрос в его жалобный монолог:

— Почему отменили возврат в зону после побега с химии?

-- Так не всем. В Мордовии только для приезжих отменили, а местный, если уходит в побег, — его обратно в зону. Наши думают, что заселяют область. Кто поживет в общежитии несколько лет, привыкнут к Саранску, девушку найдут, работу подыщут — и остаются в Мордовии. Сколько таких уже побросали свои семьи да на химии поженились. Если женился в Саранске, разрешают из общежития уйти. Меня жена пилит: ты блядуешь в Саранске! Да на фига мне девица из Саранска, я без Москвы жить не могу!

А, пожалуй, "наши" верно рассуждают: заселяют Мордовию. Сам по себе Саранск вряд ли нуждается в новых жителях — четверть миллиона горожан для столицы Мордовии более, чем достаточно. Скорее, это ракурс национальной политики: идет заселение жителями центра России национальной области. Традиционная форма колонизации — преступниками. Из Мордовии делают русскую Австралию.

...Парикмахер расспрашивал соседей про какую-то Тамару. Кажется, лисичка-москвичка из моего автозак. Откуда-то доносится ее характерный голосок: "Через мои руки прошло столько долларов, а теперь лежу на грязной полке". Да, саранские девицы ему не нужны, и все-таки еще одна московская семья грозит дать трещину в столице социалистической Мордовии.

### *Рузаевский киномонтаж*

— Хейфец — на выход, с вещами.

Вызова не ожидал: думал, промчат до Казани. Но прошло всего несколько часов, и вечером того же дня, 22 апреля, меня высаживают в Рузаевке.

Станция Рузаевка — центральное распределительное эзкдепо Мордовии, ее не миновать — предупредили меня в зоне. Все верно.

Вечер. Юноша не выдержал, умолил купе и стыдливо мочится в угол. Нам что — мы ее покидаем. А как тем, кого погрузят в Рузаевке?

Выводят. Ночной автозак. Арестанты за решеткой напоминают карандаши в связке. Удивительная игра тьмы и зловещего электросвета, просачивающегося через боковое стекло от ворот тюрьмы.

Ребенок на руках у очаровательной юницы (москвичку, видимо, увезли на Казань). Парикмахер и "грабитель"-шеф "клеют" красотку.

— Сколько в побеге?

— Четыре месяца.

— В розыск давали?

— Со дня побега. Меня бы никогда не взяли, я в другом районе жила. На вечеринке подралась с одним мальчиком, вызвали ментов, задержали, проверили по картотеке. А то бы и сейчас гуляла.

- Снова в побег — как?
- Ой, что вы! — кокетливо, как в милиции.
- А мы на Май в Москву, — басит шеф.
- Меня возьмете? — уже натурально.
- Давай адрес...

За ними скоро приехали из общежития. А зэков повезли в тюрьму.

\*

Длинный коридор рузаевской тюрьмы. Десятки солдат и прапорщиков — перед каждым стоит по одному совершенно голому зэку. На всю длину коридора. Обыск.

\*

Камера. Туалет и кран — неслыханная роскошь для тюрьмы. Живу как испанский гранд, один в восьмиметровой каюте. Кто-то забыл здесь обмылок и обрывок тряпки, заменяющий полотенце. Для тюрьмы — это "Хилтон" или "Астория".

\*

Бюрократизм бывает полезен. Каждый вечер на камеру положен чай. Сколько в камере сидит зэков — "баландерам" из хозобслуги знать не положено: тайна. Они открывают "кормушку" в дверях, всовывают в нее коленчатую трубу, я подхватываю бачок, подставляю, вливается полведра чая. На полную камеру.

Как славно постирался я в Рузаевке! Какое наслаждение надеть отмытое в горячей воде белье на тело. У зэка есть наслаждения, которые вы на воле, бедняги, навечно потеряли.

\*

Другое наслаждение зэка. Камеры для прогулок в Рузаевке расположены метрах в 30—40 от дверей тюрьмы, а сама тюрьма — в котловане между холмами. Когда выводят из тюремного здания на прогулку, на склонах холмов видны пасущиеся коровы. Господи, как на Марсе! Вон грузовик едет по дороге. Грузовики-то я не раз видел за эти годы, но чтобы вот так, по дороге, пыля... Матросы Магеллана так глядели на кастильские соборы, когда через три года вернулись из кругосветки.

\*

А какая вообще у них жизнь, на воле? Что переменялось с 1974 года?

Пока гуляю по камере для прогулок, отвернувшийся часовой (он на стене, наверху) болтает с кем-то невидимым:

— В шесть утра поехали в Саранск за мясом. Ну, че тут, двадцать кэмэ, успели. В 12-ть я уже с мясом — на Май есть что пожрать. А она ворчит, ей, суке, костей много. Да где лучше-то достану!

— Пошто долго стояли?

— Все инвалиды войны, сволота е...я! То один участник войны без очереди лезет, то другой — положено. И бабы беременные — тоже все вперед, гады. Стоишь, дрожишь, хватит ли, а она с пузом — вперед!! Я и сам из-за костей ругался, так продавцы вовсе отпускать перестали. Ушли от прилавка, и все. Вся очередь их просила вернуться...

Вернувшись в камеру, записал для памяти.

24 апреля вызов на этап.

Ждем автозака возле ворот тюрьмы. Вокруг "бытовики", ожидающие отправки на "химию". Вдали девушка-зэчка воркует с солдатиком охраны.

Бытовики подманывают ее:

— Голубка, как твое имя?

— Девушка, куда тебя везут?..

Голоса ласковые, с придыханием. Но девушка не замечает товарищей по несчастью — ведь рядом представитель высшей расы, солдат!

И тогда по двору разносятся яростные, лающие, с оскорбительной фантазией словеса, которые изошренное мужское хамство сочиняет, чтобы оскорблять женщин. Девушка молчит, отвернувшись к солдатiku, тот втянул голову в погоны.

В первый раз видел много раз описанное в литературе взрывное изменение настроения толпы. Не следует верить ни ее ласке, ни постоянству ее гнева: девушку забыли через минуту после отправки.

На станции нас ведут далеко, через пути. Нервничающие солдаты держатся за кобуры.

— Перестань психовать, — не выдерживаю я. По нервозности могут ударить задержавшегося, а у меня вещи, мне тяжелей, чем другим. — Никто не побежит, разве не видишь.

— Побежит — пуля догонит.

— Дур-рак, — взрываюсь. — В робах никого нет, все в гражданском. Освобождаться едут, кто же побежит?

Он поднял на меня глаза, которые этого не видели, белые, выпуклые пуговицы.

...Четыре года назад, на своем первом этапе в зону, подслушал разговор двух офицеров МВД.

— Прибывает новобранец, объясняешь ему правила службы, как положено, что с беглецом делать, а у него глаза... — смешок. — Как это, спрашивает, по человеку стрелять? А через полгода все. Привыкает.

\*

О солдатских глазах. Товарищ по зоне Миша Карпенюк, солдатик, сумевший бежать в Турцию через "неприступную" советскую границу, вспоминал:

— Стали турки допрашивать, про армию. Я им: про это говорить не буду. Я не изменник, а беглец. Родину люблю, не люблю только плохих людей — от них и ушел. Они поставили меня спиной к стене, приклепали руки над головой, — показал, как именно. — Ничего особенного, а постоишь несколько часов — выключаешься. Обольют водой, и снова стоишь, пока голова на сторону не упадет. Опять отольют. Глаза посверкивают, жестокие. Веками пытали, и с удовольствием. Ну, не выдержал пыток, сказал, что буду говорить. В Советской армии солдаты питаются кашей, вооружены автоматами Калашникова — а что я больше-то знал, всего 17 дней служил, еще присяги не принял.

Турецкое правительство С. Демиреля выдало честного и упрямого Мишу своим советским друзьям, причем в довесок отдало им все заявления, написанные им в адрес турецкого МИДа, чтобы в КГБ было легче вести следствие. Он получил семь лет.

— Когда выдали нашим, я взглянул на солдат-пограничников — все понял. Завезут в темное место и расстреляют; глаза-то знакомые — дырки, ими,

кроме водки, ничего не увидеть. Турки пытаются — и ненавидят тебя, и поэтому пытаются, а кончили пытаться — жалеют, кормят. Ты для них человек и они относятся: как люди к человеку — плохо или хорошо, и по глазам это видно. А наши — нелюдь какая-то, вроде к рыбам попал.

Такие рыбы глаза видел я в тот день на этапе и тоже думал: вдруг споткнусь об рельсу — ведь стрельнет, ненормальный!

\*

Возле вагонзака нас не принимают. Нет мест.

Вызывают меня одного — к общей зависти.

— Хоть этого возьми. Особо опасный государственный...

— Пятьдесят шестая? — спрашивает меня вагонный прапорщик.

— Шестидесят вторая...

Это соответственно номера статей "измена родине" и "антисоветская пропаганда" но не по российскому, а по украинскому кодексу. Или сам украинец, или часто возит украинцев в Мордовию, а скорей всего — то и другое.

— Не-е... Нет мест, у меня в этой камере смертник сидит.

— Зачем торопиться? — вмешиваюсь в разговор. — Останусь в тюрьме.

— Майские праздники впереди. Этапов до шестого не будет, — объясняет караульный. Хороший человек.

— Мне ведь день этапа за три дня ссылки идет.

— И то верно, — согласился он. — Значит, поехали назад.

Так я задержался в Рузаевке на 14 суток. Подсчи-

тал: значит, увижу Ленинград уже не в апреле, а в марте 1980 года. Хорошо.

\*

Люблю одиночку.

Под следствием, когда четыре с половиной месяца сидел в одиночке, прочитал книгу Шопенгауэра (не помню названия, но не из главных его работ). Философ советовал проверить собственную значительность одиночеством: если вам интересно с самим собой, вы — личность. Не буду кокетничать, я обрадовался: мне больше нравилась одиночка, чем камера с соседом.

Правда, в отличие от следизолятора, здесь не дают транзитникам книг. Но ко мне относились хорошо и дали новый англо-русский словарь.

Десять дней я ревизовал свои знания в лексике, полученные в институте т. е. 20 лет назад. Читал словарь подряд и помечал на листке число знакомых слов. Отлично убивает время.

Оказалось, включая международную лексику, знаю 8000 слов.

\*

Однажды вечером одиночество нарушилось. Прапор впустил в камеру молодого офицера и запер за ним дверь.

— Я хочу поговорить с Вами о том, что надо делать в стране.

— Слушаю Ваши вопросы.

— Я-то думаю, что изменять что-либо в строе бессмысленно. Главное зло в насилии, но ведь любая власть — это насилие. Хоть вас, хоть меня поставьте наверх — мы будем насильничать. Как нынешние.

Знакомо. Сильная линия идеологической защиты КПСС кроется именно в результатах Октябрьского переворота. Если революция с такими гекатомбами жертв, с пирамидами энтузиазма, с монбланами теоретических, философских, экономических, атеистических обоснований завершилась таким жалким, ничтожным "фуком" — что дадут любые другие перемены?

Крушение социалистического идеала, очевидное для каждого нормального человека, вызвало сомнение в возможности любого другого идеала. В 1925 году, на XIV съезде ВКП (б) Зиновьев и Каменев уговаривали коллег по партии не называть модель нового общества "социализмом". "Когда она будет построена, наступит разочарование, народ скажет: за это стоило ли бороться? Мы делаем все верно, другого пути нет, но не следует называть наше общество этим словом. Пусть у масс останется светлая мечта..." За это рассуждение их полгода спустя заклеили оппортунистами, "не верящими в победу социализма".

Смешные теоретики! Они не умели придумать магического термина "*реальный социализм*".

— Конечно, вы правы, — отвечаю офицеру, — мы с вами не исключение, попади нам власть. Но, возможно, есть шансы все же уменьшить количество насилия? Начальник начальнику рознь, вы знаете. Разумно так организовать общество, чтоб в начальство попадали менее крупные насильники и чтобы они по возможности должны были, вынуждены были считаться с нами. Это возможно?

— Согласен, — говорит он. — А что конкретно Вы предлагаете?

Интересный вышел потом разговор, часа на два. Так что полной одиночки не получилось.

Утром четвертого мая загрохотали замки камеры.

В голову не пришло, что ко мне сажают кого-то, решил — ведут на этап. Мало что сказали "шестого", а появилось место в вагонзаке раньше, и меня пихнули в свободную ячейку.

Типовое ощущение ээка — случайность его местонахождения. Всегда могут перекинуть в пространстве: куда — неизвестно, зачем — неизвестно, как надолго — неизвестно. Как дети переносят кукол. (Это логично со стороны начальства: уже одно, что я подсмотрел конечный пункт маршрута, Павлодар, придавало силу на этапах. А Василия Стуса везли за 9000 км, через Тихий Океан и Охотское море на Колыму, и он до самого конца не знал, куда его направляют.)

...Дверь открылась и полетной походкой вошел человек в черной одежде. Как сейчас вижу его бледно-одутловатое, тюремное лицо и нос, походивший на сабельный клинок.

И все равно я ничего не понял — так привык сидеть в одиночке. Решил, что подсадили бытовика с "особого режима" (В пересыльных тюрьмах иногда путают "особо опасных" с находящимися на "особом режиме"), сажают их вместе.

Чтобы объяснить: кто есть кто? — представляюсь:

- Хейфец. Статья 70-я.
- Я — тоже.
- Что тоже?
- Тоже эта статья.
- Фамилия?
- Гаяускас.
- Вы — Гаяускас?!

Затряс ему руку.

...Недавно к Сергею приезжал в зону следователь из Таллина, допрашивал его по делу Главного прибалтийского комитета (кажется, так называлась организация). "Какое я имею к этому отношение? Я тогда сидел в Мордовии", — изумился Солдатов. "Но ведь Вас возили на профилактику в Таллин", — возразил следователь, намекая, что Сергей даже из камеры Таллинского следственного изолятора мог бы организовывать новые комитеты. Русский парень, тот никак не справлялся с произношением трудных балтийских фамилий, и Сергей, проговорив вежливо; "Разрешите Вам помочь" — сналету сунул в бумагу и успел заглянуть в список лиц, привлеченных к дознанию: среди них имелась фамилия "Гаяускас". □

Балиса [же] Гаяускаса в 19-й зоне помнили хорошо ветераны; многие знали и про его нынешнюю жизнь, на воле (Балис освободился четыре года назад); например, Борис Пэнсон рассказывал, что Балис "совершает ошибку: женится на молодой женщине, много моложе его. Зачем это надо?"...

— Вас уже судили?

— Уже.

— Сколько?

— Пятнадцать лет. Десять особого и пять ссылки.

Каунасский суд выдал ему предел по закону: все, что мог и умел.

...Нет, я, Михаил Хейфец, большой молодец, потому что, невзирая на насмешки друзей в зоне, поволок на этап массу барахла: ничего не оставил в зоне. И вот могу встретить друга, угостить его с дороги лагерным лакомством: печеньем с маргарином и повидлом, кусочком сала — последним подарком на этап от деда Степанюка.

Но Балис Гаяускас набрасывается на самое обрыдлое, самое противное — на селедку, выданную мне в Потьме в дорогу. В зоне селедку давали каждый день, ржавую, прогорклую, противную — уж надоела она, спасу нет! А Балис уплетал с аппетитом. "На воле селедки вовсе нет, — сообщает, наконец, последнюю весть со свободы! — Шутят, что селедку выдают только экам и министрам".

— Меня сюда из Казани сегодня привезли. А в Казани повели куда-то в подвал, под землю, посадили в страшную камеру, — он произносит это медленно, по-видимости равнодушно, без эмоций в голосе и на лице. — Я там совсем не мог есть. Сутки там посидел. Поэтому теперь хочется кушать\*.

Потом Балис рассказывал о своей жизни.

Мальчишкой попал в эсэсовскую облаву и на год в гитлеровский концлагерь. Мог бы, как многие,

\* Нас, особо опасных, положено по режиму содержать отдельно от преступников-бытвиков, даже на этапах. Но переполненные тюрьмы переполнены, отдельных камер не хватает, и, случается, политического заключенного на этапе помещают в единственное, временно свободное помещение — камеру смертников. Видимо, в такую камеру в Казани попал Гаяускас.

Вот как в письме ко мне в ссылке описал подобную же камеру Размик Маркосян, член Национальной Объединенной партии Армении:

"Спустили три этажа вниз (минус третий этаж) под землю... Открыли камеру, я ужаснулся. Просил, чтобы позвали кого-то из начальства, чтобы выяснить... Они скрутили мои руки и бросили туда.

Камера два на два метра, без форточки, вонь. В стене дырка, и такое ощущение, что там и совершаются расстрелы. Все стены, дверь, койка — короче, все везде и всюду смазано говном. У меня сразу поднялась температура и появился пот. Сердце рыдало тихо, как вода. Миша, брат мой, признаю, что стал плакать — наверно, от злости и от того, что бессильный и беззащитный. Там же началась рвота и там же потерял сознание".

сочинять про свою борьбу с немцами (кто проверит! А срок — налицо), но хвастовство, тем более ложь совершенно не в характере его выдержанной, внешне даже флегматичной натуры:

— Я не одобрял то, что делали немцы, особенно казни евреев и вообще всех невинных людей. Но активно ничего особого не делал. Мой арест был случайным.

После прихода советских войск и освобождения возглавил юношескую организацию антисоветского Сопротивления в Каунасе.

— ... Листовки. Вообще пропаганда. Ничего особенного не делали.

В 1948 году их организация, наконец, вышла на связь со взрослым Движением Сопротивления.

— ...но важного не успели сделать. Провал. Всех взяли.

Он отсидел стандарт Борца — двадцать пять лет, от звонка до звонка.

— В зоне не пил чаю. Не курил. Берег здоровье. Впереди дела, я знал.

Освободился в 1973 году, приехал в Каунус, попал в обычное колесо: работы не дают без прописки, прописки не дают, если не работаешь.

— Повезло. Ошибка в милиции. Случайно поставили штамп прописки. Я еще раньше нашел место, куда могли взять, и часа через два уже устроился на работу. Назавтра меня вызвали в милицию, взяли в бюро пропусков паспорт с пропиской и больше не вернули. У начальника милиции сидел гебист, ругался, вроде бы я их "провел". Потом решил: "Ладно, пусть живет в городе, но без прописки". Сейчас они мне в дело вставили "проживание без прописки, нарушение паспортного режима".

Я рассказал, что знаю о его женитьбе, о лагерных разговорах вокруг нее.

— ...нет. Не успели пожениться. Только заявление подали. Меня забрали. Обещали, что брак зарегистрируют после приговора — в зоне.

Ой, как мне эти обещания не нравятся! Сразу вспоминается мучительная история Вячеслава Чорновила и Алены Пашко, которые тоже не успели зарегистрировать свой брак до ареста и потом шесть лет им отказывали в свидании — нравственный Зиненко объяснял: "Мы не обязаны давать свидание его любовнице"\*.

---

\* Когда Вячеслав сидел первый срок в 1967-68 гг., его оставила жена — не выдержала разлуки. "Она очень хороший человек, наших взглядов, помогала мне, но не могла жить одна. Пришлось рвать по-живому".

Через некоторое время после освобождения он встретил женщину, которую полюбил, и она ответила ему взаимным чувством. Но Алена Пашко была замужем.

Возникла специфическая советская ситуация. Брошенный муж упрашивал жену не оформлять развода, потому что их семья стояла в городской очереди на квартиру. Если бы семья уменьшилась, мужу дали бы меньшую жилплощадь: "Получим квартиру, уходи к своему Чорновилу, а пока не порти жизнь". Если бы она отказалась, его могли бы вообще снять с очереди... Алена пожалела бывшего мужа и, хотя сама она в этой квартире вовсе не нуждалась (она жила у Вячеслава), задержала оформление развода. Но очередь на квартиру длится в Союзе годами. Когда бывший муж получил, наконец, желанную жилплощадь, Чорновил уже два месяца сидел по "второму заходу" в следизоляторе КГБ. Разумеется, в условиях следствия у него были возможности добиться регистрации брака — и опытный заключенный это знал. Но его успокаивали: "Зачем Вам тюремный штамп? Вот придете в зону, тогда."

А когда он прибыл в зону, выяснилось, что издан новый приказ по МВД, запрещающий заключение браков в местах лишения свободы. И шесть лет воевал Вячеслав за право встретиться с женой...

Только в Якутской ссылке удалось исправить ошибку: "Поставили мне штамп о браке в удостоверение ссыльного", — писал Чорновил ко мне в Ермак.

Услышав историю Вячеслава, Балис забеспокоился. Но все-таки сказал: — Ирене настойчивая. Добьется\*.

\*

За что Балису Гаяускасу, отсидевшему год у Гитлера, двадцать пять лет у Сталина дали еще пятнадцать при Брежневe (сорок один год срока!! Фантастика).

Внешне его дело выглядит сборником нелепостей даже по советским меркам и образцам. Скажем, суд посчитал актом пропаганды, подлежащей наказанию, тот факт, что Гаяускас дал приятелю почитать книгу "Большевизм", изданную на польском языке до захвата Литвы Советским Союзом и хранившуюся с тех пор в семейной библиотеке отца Балиса. Вполне допускаю, что в книге имелись крайне неприятные факты и оценки большевизма (в глазах советского правосудия). Но пикантность ситуации в том, что сам подсудимый, осужденный за хранение и распространение этой книги, как оказалось, не владел польским языком. Довольно странный пропагандист со странными методами пропаганды!

Другой эпизод связан с книгой на литовском языке. Это — сочинение по истории католицизма, где два абзаца посвящены преследованию католиков в большевистской империи. Обвинение в "клевете" особенно забавно звучало в ушах обитателей мордовских зон, где 10 лет на "спецу" отси-

---

\* Гаяускас оказался прав. Недавно в Ермаке я услышал по радио (кажется, по "Немецкой волне") про обращение к мировой общественности жены политзаключенного Б. Гаяускаса. Значит, добилась Ирене! Вот молодчина!

дел львовский архиепископ И. Слипый, ныне кардинал римско-католической церкви. Но, впрочем, достаточно прочитать памфлет коммунистического публициста Я. Галана "Плевал я на Папу", чтобы любой человек понял, как обстояло дело в действительности.

Однако центральным эпизодом преступления, инкриминированного Б. Гаяускасу, стали его записи, подготовительные материалы по истории литовского послевоенного Сопротивления. Понимаю, что эта тема не радует начальство. Однако и понимая, недоумеваю по поводу приговора, ведь исторические сочинения даже коммунисты обычно судят по результатам исследования, по тексту, а не по выпискам, черновикам и записям фактографических материалов — иначе, например, любой советский американист рискует угодить на строгий режим.

Обвинение Гаяускасу состряпали так, что даже советский адвокат сначала опротестовал квалификацию обвинения, а на суде вообще начал доказывать полную невиновность своего подзащитного.

Это необыкновенное явление. Казалось бы, конечно, для чего еще нужен адвокат, если он не станет защищать подзащитного? Но советская адвокатура не может защищать невиновность антисоветчика совершенно *официально*, согласно уставу коллегии адвокатов. Параграф первый устава гласит, что обязанностью советского адвоката является защита интересов советского социалистического общества. Заметьте, общества (которое в официальной терминологии полностью отождествляется с государством), а не клиента, подзащитного. Отсюда логично вытекает, что в делах о госпреступлениях адвокат обязан сначала блюсти интересы обвинителя-государства, и только, если интересам обвини-

теля ничто не угрожает, он получает право позаботиться и об интересах клиента.

Повторяю (чтобы рассеять устойчивый даже в самом Советском Союзе предрассудок): подобное поведение адвоката не есть его личная слабость, не есть уступка внешнему давлению (хотя внешнее давление в виде лишения "допуска" к особо сложным делам и даже запрещения впредь заниматься адвокатурой тоже существует). Это официально зарегистрированная норма поведения советского адвоката, более того, — первая среди зарегистрированных норм. И если уж советский адвокат взбесился и опротестовал обвинение, составленное в КГБ, — значит, даже по меркам советского правосудия обвинение составили предельно халтурно и бесосновательно.

Комичный эпизод из рассказа Балиса: припертый защитником прокурор пояснил, что хотя доказательств нет, он "внутренне убежден", что подсудимый очень опасен. Вот тут адвокат нарушил все неписанные нормы советской этики на политических процессах и брякнул вслух, что ему желательно выслушать более веские аргументы обвинения, чем "внутренний голос прокурора".

— Нет, я буду писать наверх! — вдруг с силой вырвалось у Гаяускаса. Это был единственный момент, когда мощная, хотя затаенная страсть вынырнула на поверхность, казалось, неправдоподобно спокойного человека.

И все-таки — зачем КГБ устроило этот позорный и грязный для него процесс?

Я привык к тому, что в действиях ГБ всегда есть полицейский смысл, даже если с политической или юридической точки зрения действия Комитета кажутся бессистемными. И этот смысл можно выявить, если проанализировать доступный материал,

отвлекаясь от размышлений о законах или государственных интересах СССР.

К примеру, мой процесс, внешне безобразный и юридически, и политически, обретает смысл только в связи с полицейской акцией против Солженицына. Для КГБ все подсудимые по этому делу (Е. Эткинд, В. Марамзин, я) играли роль зитц-Солженицыных, как ни глупо это выглядит с нашей интеллигентской колокольни. Писателей как бы предупреждали: того ГАДА мы должны были выпустить, но не распускайтесь: других захотим и посадим! Вот оно, реальное основание для дела, а Хейфец или другой литератор отсидит срок — это техническая деталь, подготавливаемая на уровне полковника Баркова или даже старшего лейтенанта Карабанова.

В деле Гаяускаса, странном, непонятном деле, должен был скрываться какой-то полицейский смысл. Но какой?

Стал расспрашивать Балиса, и кое-что уловил.

Дальнейшее, как говорят в театральной среде, "в порядке бреда": чистые домыслы.

...Последние месяцы кто-то на воле исключительно четко наладил помощь политзаключенным литовцам. Излишне четко: ее иногда получали даже люди вовсе недостойные. Многие из них недоумевали: кто вспомнил про узников? "Это не провокация?" — спрашивал про полученный денежный перевод бывший литовский легионер, осужденный за убийство в засаде начальника районной милиции (кстати, он как раз относился к людям вполне по-лагерному достойным).

Гаяускас упомянул: при обыске у Александра Гинзбурга, заведующего Русским Общественным фондом (Солженицынским), был изъят полный список литовских политзэков в лагерях Мордовии

и Перми. КГБ считал, что этот список — дело рук Гаяускаса и что именно Балис помогал А. Гинзбургу в литовских делах фонда. Об этом его допрашивали на следствии.

Главными политическими процессами этого времени для КГБ являлись процессы Ю. Орлова, А. Гинзбурга и А. Щаранского. Со свидетелями и уликами дело обстояло худо — теперь, задним числом, это видно. Единственным серьезным успехом считалось выступление Петрова-Агатова, старого политзэка и соседа А. Гинзбурга по камере, ставшего провокатором ГБ. Комитет всегда вдохновляется такими историями. Им могло казаться, что литовец, отсидевший 25 лет и припертый данными обыска у Гинзбурга, захочет облегчить свой срок хотя бы за счет неземляка, нелитовца — Александра Гинзбурга.

Были у ГБ и другие оперданные, позволяющие прижать арестанта: факты, известные только двоим, Гаяускасу и его сотруднице, матери одного политзэка, оказались известны следователю.

Но Балис Гаяускас не помог своим тюремщикам. Хотя калужский процесс и кончился жутким приговором, политически он означал фиаско Комитета: ничего противозаконного доказано не было. А такой авторитетный свидетель, совесть и моральная опора литовских диссидентов, как Балис, мог бы сильно помочь прокурору... По-моему, за бескомпромиссную позицию, срывающую планы игр вокруг процесса мирового звучания, Гаяускасу и отомстили — выложили 15 лет срока.

Я любовался им в камере, гордился, и больше, чем им самим, гордился человечеством, имеющим таких людей. Так возникает подлинное самоуважение: когда видишь, что особи, принадлежащие к одному с тобой виду гомо сапиенс, живущие с то-

бой в одну эпоху, спокойно, с неколебимым достоинством и верой идут после срока в 25 лет на новые пятнадцать, потому что верят — за ними правда и Бог. Приятно осознавать себя человеком и понимать: смог он, сможешь и ты сам — это доступно смертному! Чтобы получить такое знание, стоит пройти этапными дорогами — во всяком случае, Михаилу Хейфецу.

\*

У каждой тюрьмы, как у каждого американского университета, свой устав. В Рузаевке устав приятный. Ко мне там относились прилично и человечно: выдали подушку (хоть без наволочки, но все же...), одеяло (без простыни). А Балису отказали — не знаю почему. Конечно, я отдал ему свои и настоял, вопреки его стеснительным отказам: он-то шел в зону...

Есть однако в рузаевском тюремном уставе неудобный пункт: вещи, сданные по прибытии в камеру, неприкосновенны на период жизни в тюрьме. В принципе, это тоже гуманно: заключенные оберегаются от тотального ограбления в камерах рецидивистами и паханами.

В моих чемодане и рюкзаке лежали кучи теплого белья, носков и прочих шмоток: специально захватил в дорогу, надеясь снабдить встречных товарищей... И вот — не могу отдать Балису!

Сообразил: когда меня вызвали на этап, снял с себя теплое белье, носки с ног, отдал пластмассовые банки (в зоне пригодится любая мелочь).

Читатель улыбнется?

Для меня тут лишняя возможность напомнить: нас кормили официально на 50 копеек в день и в виде поощрения могли выдать "приварок" в лагерь-

ном магазине на 17 копеек в день. С этой официальной суммы подкармливаются все снабженцы и работники кухни, и многие администраторы, и все-таки даже официально это почти в четыре раза меньше, чем тратит на еду человек на воле.

Когда зэк годами, а то и десятилетиями балансирует на грани истощения и озноба, лишняя пара белья или носок могут сохранить ему если не жизнь, то здоровье.

...На прощанье мы ели подарок, который Балис вез в зону, — литовскую колбасу, полукопченую... Не разрешат ("не положено") и сожрут сами надзиратели — поэтому мы решили кончить ее тут же в камере. Но так горько было есть: все равно возникло чувство, будто отнял ее у Кузнецова, Федорова, Мурженко, Гинзбурга, Шумука, Пяткуса, всех остальных...

Горькой запомнилась мне дивная литовская колбаса.

#### Глава четвертая

#### НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ

6 мая — 12 мая 1980 года

*Опять с бытовиками*

Этап Рузаевка-Свердловск ничем не интересен. В купе 15 человек, 14 воров. "Стольпин" после праздников забит до отказа: даже в туалет для скорости выводили не всю камеру, а по трое самых проворных, кому терпеть невмоготу.

Какие-то общие разговоры. Здоровяк-вор ехал с 17-й зоны, моей первой, спросил его, как ладит с

бытовиками наш бывший "отрядник", лейтенант Вячеслав Улеватый. Угрюмо отвечено: "Петля для него готова".

А каким пухлогубым птенчиком, мальчишкой-романтиком прибыл к нам в 1975 году этот женоподобный Улеватый из училища: просился в оперативную часть... Чистый коробкин, что из него надо, то и лепи: хочешь — героя войны, хочешь — военного преступника. Зиненко с удовольствием лепил себе подобного. Однажды в коридоре штаба Валерий Граур услышал за дверью кабинета, как капитан воспитывает лейтенанта: "Ну что ты, х.. моржовый, вы.....я? У тебя, м....а, вместо мозгов г...о собачье!" Улеватый не пикнул. Ни с одним зэком не посмел бы Зиненко так разговаривать, даже с последним военным преступником, тем более с диссидентом, но для беседы с офицером выбрал подходящий язык (рассказывал доцент, в войну служивший в разведотделе у будущего члена Политбюро, министра обороны СССР и маршала Гречко: "Приличный человек был командующий. Матерился, правда, жутко, но без таких слов ни один генерал не понял бы, чего от него добивается командарм").

В два месяца обработал капитан помощника в такую мерзкую гниду, что и сам учитель казался рядом с ним приличным человеком.

Улеватый располагал набором слов образованного человека: заведет разговор о новой книге, фильме, студенческом движении в Европе и, не прерывая беседы, сунет руку тебе в карман, достанет оттуда блокнот, перелистает, посмотрит записи и так же, рассуждая о Маркузе и Кон-Бендите, вложит в карман обратно, если нет интересных записей. Для таких функций у Зиненко имелись надзиратели, даже он помнил, что все-таки офицер...

Я вспомнил Улеватого здесь в странной связи. Западные обозреватели, которых слушаю по радио, возлагают надежды на молодое, послебрежневское поколение советских руководителей. Вот я представляю: видят перед собой внешне приличных людей, в положенных модных костюмах (Улеватый тоже одевался модно, а на Зиненко джинсы сидели, как балетная пачка), начитанных, говорящих на языках, специалистов (Улеватый читал нам лекции по юриспруденции) — невольно и логично должно казаться, что это будут субъекты, с которыми можно говорить и договариваться. А перед ними такие же улеватые, и они похуже своих хамоватых предшественников: у тех имелись хотя бы "ленинские правила поведения", а у этих в глазах одна "божья роса".

...Вдруг за решеткой возник недомерок в форме сержанта и с лицом дебила:

— Спрячь часы! Советую по-доброму!

Часы на моей руке — признак "самости" в обезличенной толпе эзков: мне позволено их носить только потому, что я освобожден, мой срок кончился.

— Вы мне советов не давайте, — отвечаю. — Приказы ваши я обязан выполнять, а советы оставьте для своих друзей.

Я "выступаю", потому что именно он, против правил, водил в туалет не всю камеру, а только проворных — облегчал себе жизнь за наш счет. Ищу повод потрепать в ответ ему нервы. Он так это и понимает.

— Ты кто такой? Выведу, п.....й надаю...

— А Вы сначала узнайте, кто я такой.

Он удалился, а камера пришла к выводу, что я птица важная: кстати, и для безопасности часов это всего важнее. Ночью в полусне, услышал разговор

”урок” внизу: ”Где бы монет раздобыть?” — ”А часы?” — ”Да ну... За ведро таких пачку чаю дадут”. Вранье: за часы солдат отдаст пару пачек... Просто вошло в сознание: я — зэк со строгого, едва ли у своих не ”пахан”, держусь хозяином, кто знает, какая кодла служит этому политику и где она может достать урку. Мои часы такого риска явно не стоили.

К политике эта публика оказалась абсолютно равнодушной, кроме, что поразило и запомнилось, ”свободного профсоюза”. О нем расспрашивали и даже припоминали подробности, уловленные по радио: фамилию Клебанова и т. д. Воров-профессионалов ехало сравнительно немного — за воровство и хулиганство сидит обычная рабочая публика, и слух о ”настоящем профсоюзе” казался ей важнее ”прав человека” и ”хельсинкских соглашений”.

Кто-то из них поделился секретом: ”Я на связи работал в Явасе. У вас в поселке все телефоны прослушиваются”. Пришлось из вежливости сделать вид, что для меня это новость: не обижать же человека... Другой спросил: ”Чего хотят ваши?” Изложил им ”12 пунктов о России” Сергея Солдато́ва, потом, ночью услышал разговор: ”Дурью маются”. — ”А, может, в этом что есть? Не с нашими вонючими мозгами в этом разбираться”. ”Вонючие мозги” запомнились, потому что удивили.

Когда анализирую тогдашний разговор, кажется, что проще и легче всего воспринимались работягами пункты Сергея о необходимости воссоздать ”Русскую Россию” и отпустить на волю все колонии. Это меня удивило, так как раньше империяльная психология виделась мне органически присущей массовому русскому сознанию. А на практике вроде получалось, что оно свойственно скорее интеллигенции и средним классам, воспитанным на исто-

рии Российской империи, а низам надоели не только авантюры во всех уголках Земли (эти надоели, по моим наблюдениям, даже партаппарату на местах), но и старинная собственность: национальные окраины. "Пусть катятся на х..".

Зато демократия, любимая интеллигентским сознанием, хотя бы в виде мечтания, вызывала у них осязаемое сомнение — это тоже запомнилось, потому что разрушало мой собственный стереотип сознания. Думаю, у них это был рецидив все того же суждения о своих мозгах как "вонючих", которые — если честно-то — зачем должны заниматься общественными делами, вдобавок неинтересными, ненужными?

В Казани к купе подошел шеф вагонзака, прапорщик:

— Воспользовались, что я заснул, и нагрубил моему помощнику? Зачем выступаете? Смотрел я ваше дело. Если что надо, вызывайте меня, а ему не грубите.

На том инцидент кончился, и после заметно разгрузившей нас татарской столицы он перевел меня в отдельное купе. Там я отоспался.

Подъезжая к Свердловску, заметил умное кавказское лицо среди караульных.

— Армянин? Из Еревана? Советашен знаешь?

Три раза кивнул.

— Про Паруйра Айрикяна слышал?

— Да.

— Это мой друг. Азата Аршакяна знаешь?

— Да.

— Я ассоциированный член их организации. Не полноправный, потому что не армянин, а симпатик.

— Их организация разгромлена, — прошептал одними губами.

— Она действует, — по совести, я хотел вначале попросить его бросить в ящик письмо, которое мне дал для отправки Балис Гаяускас, но передумал. — Скоро здесь проедет Рамзик Маркосян. Сделаешь для него все, что сможешь.

Он кивнул. Он и для меня сделал бы все, что мог, но я наивно рассчитывал дней через 5—6 сам отправлять свои письма.

### *По улицам слона водили...*

На свердловском вокзале мы ждали разгрузки гурта часа четыре. Соседи по путям, вагонзак с женщинами, ожидали приезда автозаков-”воронков” с ночи, уже часов двенадцать. Если так разгружают мыслящий скот, воображаю, что творится с бессловесными тварями на путях — а еще удивляются, почему в России нет мяса.

Ждать на станции тяжело — и не только от майской жары и духоты в вагоне, натолканном людьми. Самое обременительное — все тот же туалет. На станциях им запрещено пользоваться — лишение, почти незаметное для обычных пассажиров, но нестерпимое, когда ждешь выгрузки, как несчастные бабы, до полусуток.

Администрацию свердловской пересылки не буду винить за задержку автозаков: очень уж велик эковский поток в этой точке. По сведениям опытного вора, сюда в среднем прибывают тысяча эков каждые сутки. Считанными фургонами и караулами надо перевезти, обработать, рассортировать, разместить такой поток — и изо дня в день, годами и десятилетиями. Свердловск — аорта, ведущая из населенной России в богатые рудниками и лесоповалами, приисками и оборонными

объектами, но бедные "людским контингентом" Сибирь, Казахстан, Якутию, ДВК...

Наконец усадили меня в "стакан". Конвой проводит переключку, и мою фамилию так переврали, что я взял да и поправил. В ответ злобный мат. Держу марку "политика" — "выступаю":

— Прошу Вас не материться.

— Е...й в рот...

— Прошу Вас говорить мне "Вы", согласно Устава караульной службы. Я ведь обращаюсь к Вам на "Вы".

За стеной "стакана" кто-то накалился до истерики:

— Сейчас врежу. Постой, где его дело?

Тишина. Видимо, залезли в сопроводительный лист. Наконец, слышу — отпирают камеру. Понимаю, что хотят бить, но как-то не боюсь — может, от неопытности и излишней уверенности, что этого не будет. Дверь распаивается со скрежетом — хочется сказать, зубовным...

Боже мой, какое личико предстало! Симпатичнейший, простодушнейший деревенский парняга, рыжеватый, курносый, веснучатый — вылитый Иванушка, каким его рисуют в иллюстрациях в сказке Ершова "Конек-Горбунок". И на лице не злость, а любопытство, с каким сказочный Иванушка смотрел на жар-птицыно перо.

Я невольно улыбаюсь, он совсем сбит с толку:

— Слушай, а что за статья такая — 70-я?

— Пропаганда, — говорю значительно.

— Так ты кто?

— Политический.

— Врешь! — и после паузы: — А по нации кто?

— Еврей.

— Врешь!!

— Почему? — весело изумляюсь. Видно: смотреть

на живого еврея для него все равно, что на живого слона.

Вдруг его активно оттирает вбок помощник, чернявый армянин из глухого горного села:

— Где еврей? Хочу посмотреть еврея!

По-моему, оба не догадывались, что евреи живут в СССР — думали, что меня этапируют прямо из Израиля.

Насмотревшись на чудо, заперли дверь. Слышу иванушкино:

— А я ведь его чуть не отп...л.

— Нет, подумай, настоящий еврей, — восхищается армянин.

— Кого только не встретишь, — с заметной гордостью ответствует Иванушка. — Служба такая!

Когда приехали в тюрьму, они сами вынесли мои вещи из автозака.

### *Гитлер жил, Гитлер жив, Гитлер будет жить*

Стены приемной камеры Свердловской пересылки сверху донизу исписаны: "Здесь сидели Гитлер и Борман"... "Мюллер ушел на этап" и дата... "Привет нашим от Геринга" и свастика... "Гиммлера увозят в Кузбасс".

Компания малолеток играла в "фюрера и его команду".

Мне кажется, гитлеровский бум в Союзе начался с 12-серийного теледетектива "17 мгновений весны" о похождениях туза советской разведки фон-Штирлица. Было заметно, как актеры с удовольствием носили черные мундиры с одним погоном, щеголяли римским приветствием, обращаясь к партнеру по роли, и со звоном выговаривали загадочно-манящее: "Герр штандартенфюрер!" Возможно, половина былой гитлеровской мощи держалась

на организационном таланте Геббельса, умевшем отыскать изобретателей всех этих зрительно-слуховых эффектов, чарующих обывателей пяти континентов. Двойные молнии на петлицах, черепа на рукавах, факелы, гусиный шаг, а названия дивизий: "Мертвая голова", "Викинг"... В Москве пробовали подражать "красотам" (Берия в войну назвал контрразведку "Смерш" — "Смерть шпионам"), но подражание не превышало уровня пародии.

(Кстати, до сих пор не могу без улыбки видеть буквы на погонах советского солдата: "СА").

...Три года назад Петр Сартаков, рабочий-зэк, рассказал впервые про Гитлера. Просидел он с ним часа четыре на этапе в Лефортовской тюрьме. Гитлеру не исполнилось 18 лет, он возглавлял группу таких же малолеток, каждый из которых носил кличку-имя одного из фюреров III рейха. По словам Сартакова, они были детьми относительно высокопоставленных родителей и занимались убийствами ветеранов-коммунистов. Не удержались на политике и заодно "замочили" своего школьного учителя физкультуры, на чем погорели. Признаюсь и каюсь публично — не поверил я тогда Сартакову. Думал, пересказывает тюремную байку — у зэков-бытовиков случается. Если подобное диковинное дело существовало, ну, неужели никто о нем не слышал, не передавал по радио?

Но через год пришло подтверждение: с дополнительного следствия из Лефортова вернулся на зону Говик Копоян, агент-связник ЦРУ, и рассказывал: при нем надзиратель открыл кормушку и обратился к соседу:

— Это ты трепался, что малолеток не расстреливают?

— Ну?

— Гитлеровцев-то всех расстреляли.

— Не может быть. Малолеток...

— Всех под метелку.

Когда кормушка закрылась, Говик спросил, что это за "гитлеровцы".

"Да сидела компания малолеток. На допросах отвечали только в присутствии своего Гитлера. Следователь им вопрос, а они к Гитлеру: "Вы позволяете мне отвечать, мой фюрер?" Смотри-ка, малолеток и расстреляли..."

В Свердловске я подумал, что сведения Говика неверны, и гитлеровцев этапировали в колонии или зоны: не могли же, действительно, расстрелять малолеток. Только через два этапа, в Целинограде, встретился с бывшими "малолетками" и от них узнал: фактически нет в Созе запрета на расстрел несовершеннолетних. Когда рассматриваются особо тяжкие преступления, суд имеет право "лишить малолетства", то есть считать несовершеннолетнего как бы совершеннолетним. Целиноградские парни знали это на собственном опыте. Скорее всего, московских "гитлеровцев" расстреляли, а через Свердловск прошла какая-то новая группа поклонников СС и ордунга.

### *Кот, который гуляет сам по себе*

Зарегистрировав меня в приемной тюрьмы, отшлюзовали в малую камеру для ожидания. Минут через 15 туда ввели соседа — пожилого, грузного, усталого зэка южного типа, с лиловыми, как сливы, глазами и смуглобледной кожей.

Фамилии его не помню. Национальность назвал: "Румын". "За что сидите?" — "За веру". — "Какую?" — "Обыкновенную, христианскую". — "ИПЦ?" — "Не понял". — "Истинно православная

церковь?" — "Нет". — "Баптист-инициативник?" — "Нет". Только когда упомянул, что сидел со Скрипчуком и Руссу, признался: свидетель Иеговы.

— Срок Ваш?

— Пять лагеря и пять ссылки.

Как и я, он этапировался из зоны в ссылку — в Томскую область.

— Досрочно не удалось освободиться?

— Нас не освобождают.

— Даже с бытовой зоны? Даже на "химию"?

— Говорят: отрекись от Веры, выпустим.

— Прямо требуют отречения от Бога?

— Говорят: прими другую Веру. В Бога верь, это твое дело, но не по-своему, а как мы разрешаем.

Завязывается разговор, и румын начинает подводить меня к своей догме: "Вы людина умная, много читали, "Башню стражи" читали, Писание. Почему не приняли Веру? Зачем Вам политика?" и т. д.

В беседах с разными людьми я стремлюсь найти объективные ответы на общественные и общеисторические вопросы, занимающие в данный момент мое сознание. Опасно делать выводы из случайных разговоров со случайными людьми, но пусть моим извинением послужит далекая от научной скрупулезности, вся на интуиции, профессия литератора. Я ведь и не утверждаю, что мои догадки и выводы истинны: всегда говорю — так чувствую истину.

В тот раз, общаясь со свидетелем Иеговы, хотел понять истоки активной неприязни моих предшественников, интеллигентов двух последних веков, к служителям религии, его предшественникам. Поэтому отвечал так:

— Не приемлю веру, потому что не приемлю безоговорочно истинность человеческой мысли, которая заложена в вере.

— То не человеческая, Божественная мысль.

— Принимаю Ваше утверждение. Но то, что за Библией, что составляет догмат не Веры вообще, а вашей, особенной веры — это же человеческое умствование над текстом. А оно подвержено критике...

Он покачал головой, хотел возразить, я поправился:

— Поймите, я вовсе не утверждаю, что отцы церкви, богословы, толкователи — лживые или корыстные люди. Уверен, что их пером всегда двигали лучшие побуждения — желание одухотворить мир, сделать его ближе к Богу. И они находили самое верное, самое нужное, что в их мире, их современникам надо было сказать о Боге, к вящей славе Божией. Но все-таки и самые святые из них — люди. А человеку свойственно ошибаться, и я не могу без критики принимать людские утверждения или умозаключения только потому, что они высказаны очень достойными людьми. Человек — не Бог, даже святой человек.

— Людьяна может ошибаться, — соглашается он. — Но в чем наша ошибка?

— Хотя бы в вычислении даты Армагеддона.

(Армагеддоном иеговисты называют день конца света, последнего сражения Божьего воинства с ангелами тьмы.)

— Но про даты написано в Библии.

Я наперед знаю, что сейчас последует: длинная цепь цитат, с указанием наизусть всех ссылок: книги, главы, стиха. Религиозники, при всей моей личной симпатии к таким, как Скрипчук, напоминают специалистов по Марксу и Ленину: то же щеголяние сносками и любовь к цитатам, то же преклонение перед авторитетами, та же неприязненная брань в адрес несогласных, и, главное, то же

стремление интересную догадку или интуитивное предположение одного из общепринятых кумиров выставлять, пользуясь давностью прошедшего времени, в виде бесспорного положения. Мне кажется, что интеллигенты прошлых веков испытывали при виде богословов те же чувства, какие наше поколение обращает на преподавателей марксизма-ленинизма.

Спрашиваю его:

— Да, цитаты взяты из Писания. Но откуда взято, что библейский "год" есть год христианского исчисления?

— Как?

— Разве Бог обязан адекватно...

Заметив его взгляд, поправился:

— ...обязан точно выразить Божественное начертание на человеческом несовершенном языке? У евреев, с которыми Он говорил, год вообще лунный-солнечный! Почему Ваши наставники решили, что библейский год есть отрезок времени, который они измеряют оборотом Земли вокруг Солнца? От кого известен смысл, который пророки вкладывали в слово "год"?

— Год есть год.

— Может быть, грешный человеческий язык и по сей час не способен правильно выразить божественное в мыслях пророков!

Но ему уже было неинтересно со мной: религиознику неинтересно с человеком, который походя, не замечая, может разрушить построенное с усилиями здание Веры. Он еще пытался отговаривать меня от политики: по слову Божию нужно оставить грешные земные дела и спасти себя, услышав Благою Весть. Ссылался на Иисуса Христа (возможно, я ошибаюсь с текстами, но смысл разговора помню хорошо).

— Но ведь Иисус не повелел этого ни Вам, ни мне. Откуда известно, что его повеление Андрею, или Симону, или Матфею — обязательный идеал для других людей, а не указание именно этим, избранным им — именно им и только им?

Слабость его позиции заключалась в том, что, проповедуя уход в Дух от политики и прочих мирских, грешных деяний, он не мог не лгать или не лицемерить перед самим собой, то есть совершать первое преступление против Духа.

— Зачем Вы уверяете государство, что Вы не вмешиваетесь в его дела, что Вам не до политики, а только — до Веры? Вы не можете быть равнодушными к атеистическому государству. Государство — идеологично, оно ведет захват человеческих душ, увлекает их в безбожие всеми административно-идеологическими способами. А Вы внушаете его слугам: "Мы не против Вас". Они не верят и справедливо. Я испытываю удовольствие, что в лицо им говорю: я — Ваш враг. Враг вашей философии, морали, политики. Кстати, они уважают меня за правду и даже задумываются над своей грешной жизнью — тоже ведь люди! И срок мне положили в 6 лет, а Вам, который обманывает их мнимым невмешательством в их политику, всыпали червонец. Уж лучше бы прямо сказали: "Именем Бога, будьте Вы прокляты" — все равно больше десяти не дадут, это предел по их статье.

В это время за ним пришли. Он не был на меня обижен, я видел, ему нравилось, что кто-то делает так, даже если это неправильно.

Я встречал немало религиозников, и не только в зоне. Признавая на словах непознаваемость Божьей воли, они в практике верили, что именно им она открыта — им, их авторитетам, соборам, святым. Но поползновение смертного ума, пусть

великого, нравственного, святого, высокомерно выдавать свой домысел за изложение воли Божества вызывает в других такой же естественный протест, как претензия открыть все тайны мира ключами Научного Коммунизма — Пролетарского Интернационализма.

В зоне (возле старого барака, осенним вечером), поразила меня разрядом разгадка учения Кальвина о Божественном предопределении. Богослов разработал правила личной и общественной жизни согласно Воле Божьей, как он ее понимал, и внезапно осознал: но все это — неисповедимо для человека. Бог может сокрушить самого правоверного, скрупулезно соблюдающего 613 заповедей иудея, и ревностнейшего католика, и безупречного исполнителя всех решений православных соборов, и непоколебимого протестанта, и фанатического мусульманина, как сокрушил он Иова. И Он может возвысить любого жуткого святотатца, как возвысил Атиллу или Сталина, если тот — бич Божий. Как мог женевский богослов осознать ограниченность своего знания и признаться в этом миру — непонятно. Это акт величия. Обычные знатоки Веры неосознанно рассуждают по принципу: "Бог знает все, но мы знаем больше".

Это и отводит меня — думаю, навсегда — от любой церкви.

### *Неожиданный сеанс*

В камере для ожидания меня забыли, администрация "запурхалась". Проходили часы, я сидел и ждал. Глазок в камере выбит. Заглянул, вижу — коридор опустел, колонны эков развели по

нарам. Потом... потом появились девушки из тюремной хозобслуги.

Девушки показались на удивление хорошенки-ми. Может, у меня просто слабость к свердловчанкам (в этом городе 15 лет назад я женился)? Впоследствии Ида Нудель, активистка сионистского Сопротивления, этапированная в томскую ссылку, писала мне в Ермак: "Девки-уголовницы — это чистые обезьяны с двумя инстинктами: пожрать и поспать с мужиком". Наверно, Ида права, она-то узнала их в камере, но тогда я любовался ими. Как в кино подглядывал их жизнь: вот тихо разговаривают, прошли парни и они приняли позы, те ушли и начинается поправка локонов, воротничков... Наверно, билет на этот спектакль позволил мне высидеть в камере без звука до самого вечера восьмого мая.

### *Помни про партер!*

Уже стемнело, когда я зашумел. "Кто?! — спохватилась администрация. — Да где мы Вам камеру найдем?" Пока что отвели в баню.

Долгонько сидел я в предбаннике, ожидая камеры. Поглядеть на меня собрался целый пост хозобслуги, только уже мужской. Парни работают не по восемь часов в день, как в зоне, а сколько прикажут; живут не под открытым небом зоны, а в тесной клетке камеры. Зато освобождают их по полсрока — это и есть "плата за камеру".

Хлопцы сообщили новости гулаговского агентства новостей: недавно через Свердловск проходил на ссылку политик из Перми; в городе готовят большой процесс — бытовики сожгли дотла большую зону; из Москвы передают — Щаранскому

64-ю переменяли на 190-1 (самую мягкую из политических статей. Увы, это оказалось ошибкой).

Пошли вопросы про политиков:

— Сколько вас в зоне?

— Двести человек.

Смех: тоже зона! "Да в нашей тюрьме одной хозобслуги двести человек". И — главное:

— Что знаете про свободный профсоюз?

...Недавно по западному радио я слышал в Ермаке интервью одного из деятельных советских правозащитников, бывшего ученого секретаря Все-союзного общества астрофизиков и бывшего зэка мордовских политзон и Владимирской крытой тюрьмы Крониды Любарского. На вопрос, почему в СССР мало диссидентов, он ответил: "Диссиденты — актеры на сцене, за которой следят миллионы глаз". Журналисты, чувствовалось, не поверили ему: понять их можно — но они ошибались. Любарский прав.

Позволю себе в связи с этой мыслью маленькое отступление в прошлое. В награду за "хорошее поведение на дознании" (я признался, что уничтожил, сжег свою первую книгу "Место и время", которая в это время уже ушла за "забор") капитан ГБ Мартынов принес в камеру английскую коммунистическую газету "Морнинг Стар". Члены БКП советовали руководству КПСС не держать в тюрьмах людей, подобных Владимиру Буковскому (после обмена на чилийского генсека Корвалана он тогда объезжал Великобританию). Ведь эти диссиденты-одиночки могут принести вред социализму, только получив ореол мучеников, а сами по себе — что они могут, малая кучка против великого государства.

Я поразился: неужели наивные англокоммунисты считают своих советских партийгеноссен

идиотами, неспособными без их совета соорудить столь простенькую и очевидную политическую мыслишку. Разумеется, Политбюро московского ЦК не глупее лондонского в том, что касается его интересов. В отличие от англичан советские руководители имеют обширную информацию: они знают, что за махонькой горсточкой диссидентов скрывается сила, разрушавшая в истории твердьни покрепче советской власти, — сила правды о "реальном социализме". И если не мешать горсточке говорить всеми средствами, то завтра ее мысли станут доступны миллионам в партере — армейским офицерам, солдатам, даже гебистам. И кто знает, вдруг среди зрителей найдется рота, желающая выйти на сцену, и неизвестно, найдется ли тогда взвод, готовый умереть, но защитить Кремль! Хотя и выгодно мне поддержать англичан, но со вздохом вынужден признать: политически правы не они, а советские руководители. Если уж хозобслуга свердловской тюрьмы в подробностях интересуется диссидентами, то...

Но пока — пока вокруг быт ГУЛага. Пришла новая партия с этапа. Выстроились на медосмотр в колонну по одному перед женщиной-врачом, расстегивая на ходу штаны, показывают ей член, совершают им круговое движение — и так по конвейеру передвигаются десятки молодых (18—22 года) парней перед 30-летней женщиной. Видел бы это Лев Николаевич Толстой!

— Запомнил? — спросил меня "хозбандит". — Не забудь.

Сколько раз, начиная с первого этапа, слышал я это от эзков: "Не забудь".

Потом в баню повели женщин. А на посту obsługi в бане — одни парни. ... Поздно вечером пришел прапорщик: "Ночку посидите в карцере, а завтра

мы что-нибудь для Вас найдем". Господи, за спиной 93 карцерных суток, что там еще одна ночь! Длинными-длинными переходами через дворы громадной пересылки ухожу в карцерный корпус.

### *Бычки в загоне*

В карцере стены сделаны по "Приказу № 20" (лагерной конституции) т. е. под "шубу" оштукатурены с острыми или выпуклыми бугорками по всей плоскости. Писать на стене нельзя — в том и плюс для начальства. Прислониться к ней — тоже.

Грязная, дурно пахнущая дыра в углу, возле двери, — это туалет. Я — человек привычный и вообще не слишком брезгливый, но подошел к нему с трудом и усилием.

Отдыхаю на маленьком пеньке в другом углу. За стенкой переговариваются насчет какого-то номера, и вдруг голос: "Подойди к окну". У окна — щель в соседнюю камеру.

"Земеля", — ласково кличет сосед, спрашивает про что-то непонятное. Только потом сообразил, что он интересовался водкой или наркотиками. "А как передать?" — Мент пронесет". У меня не нашлось для них ничего, кроме хлеба, — и сосед потерял ко мне интерес.

Скоро понял, что весь карцер забит подследственными по громкому делу о поджоге зоны: других одиночек на время суда не нашлось в громадной тюрьме. Спросил — неделикатно — про подробности, они разумно отмолчались, лишь один высказался кратко: "Козлы много воли взяли" ("Козлами" называют лагерных активистов и сексотов.) Судя по голосам, все обвиняемые в возрасте 18—20 лет (я так никого из них не увидел).

Завязался разговор о женщинах. Некий юноша прочитал на весь коридор стихотворное послание к подруге Валюхе по кличке "Атомная бомба". В нем звучала нежность и надежда. Последовал мужской разбор стихов: автора уличили в плагиате у кого-то из своих тюремных бардов, но не это интересовало молодежный коллектив: обсуждались женские стихи и моральный облик Валентины. Трудно вспомнить такую мерзость, какая была забыта, но более остального волновало их ее женоложство. Поклонник пытался защищать любовь: только сегодня Валюха сумела передать ему по дороге из суда в тюрьму что-то важное, и как главный козырь в защиту девушки, он истерически выкрикивал:

— Валюха знаете какая! Она, если кого заразит, повесится!

Но под клещами мужского напора слабел его голос, и уже петухом пустил он под конец рыдающе:

— Какие мы несчастные! Уж если полюбишь кого, то "Атомную бомбу"...

Потом другой менестрель читал мини-поэму. Очень складно автор описывал все способы, какими совокуплялся с подругой. Очень пластично, все в рифму и даже полное имя подруги назвал, знакомое соседям, но они критически-завистливо возразили, как же он за один заход и без перерыва освоил столько секс-поз... Врешь! Нет реализма!

Господи, какие скоты оформляются из пацанов в свердловском "исправительном учреждении"!

Наконец, надзирателю надоел гвалт, и онскомандовал отбой.

После этапа зверски хотелось спать.

Вместо нар в карцере три сколоченные доски на ножках-планках, над полом сантиметра два-три. Стелю под голову бушлат, падаю на этот настил "без ног" и тут...

По стене, прямо перед моими глазами, стремительно катится вниз вал багровых клопов. В жизни не видел такого клопиного прилива. Они шли стремительными колоннами, как гвардейцы в исторических фильмах про наполеоновские войны. Давить их невозможно: стены "под шубу" идеально приспособлены для укрытия рядов клопиного наступления.

Вскочил. Отошли наверх. Насекомые знали — опыт у них большой, — что зэк никуда не денется. Рано или поздно рухнет, обессиленный, на настил и угостит их своей кровью.

Сел на сиденье. Клопы перекочевали туда же. Отступил к настилу. Вернулись. Стал ходить — сбил их с толку. Замерли. Ходил всю ночь.

...Через две недели в целиноградской тюрьме Миша Нефедов, зэк-самоубийца (о нем речь впереди) рассказал:

— Подумаешь, клопы. А вот в Рязани — вши. Прибываешь в тюрьму, тебя врач осматривает, голову проверяют — нет ли вшей. Заходишь в камеру, а они стаями по углам сидят. Убываешь из тюрьмы — опять тебе осматривают голову. Боятся, что мы увезем на память ихних вшей.

...Но все это чепуха. Главное, что всюду есть врачи, и по количеству больничных коек СССР на первом месте в мире, и именно об этом мечталось в селе Шушенском на Енисее.

Спать в ночь с 8 на 9 мая 1978 года в Свердловске я не мог: клопы не велели.

Утром караул отказался перевести меня в другую камеру:

— Нам никто про Вас распоряжения не давал.

— Обещали всего на одну ночь, пока подыщут помещение!

— Они Вас обманули.

Простенько, но со вкусом.

Обычно зэк бессилён: в День Победы начальства нет, оно пьёт, даже не позовешь никого. Но у меня имелись лагерные наблюдения...

Администрация почему-то крайне не любит голодовки и другие акции протеста в дни "красного календаря" — на большевистские праздники. Политики значительно обесценили это оружие, предъявляя в эти дни требования политические, т. е. заведомо невыполнимые для лагначальства. Но если атаковать администрацию по законному поводу...

Не дают бумаги — есть листок для заметок в "Англо-русском словаре", постоянном спутнике на этапе. Пронес с собой и стержень от авторучки. Значит, на День Победы я вооружен: пишу объявление голодовки. Протестую против водворения в карцер без нарушений и постановлений администрации и против антисанитарного состояния камеры.

Надзиратель открыл кормушку, чтобы дать мне завтрак — а я ему заявление, быстро, рывком, иначе не примет. Старик отшатнулся, вздымая к потолку худые ладони, но я успел выбросить листок на пол, за пределы камеры. Теперь оставалось ждать. Он обязан известить начальство, а за ним — прокуратуру. У них тоже свои порядки и свои цоресы...

Через полчаса слышу спокойно-размеренный голос дежурного офицера. (По моим наблюдениям,

человека порядочного и неплохого педагога: он умно и тактично обращался с малолетней "кодлой", заполнявшей карцер.) Камеру открывают и меня переводят напротив: в новом жилище гладкие стены, нет клопов и... кровать с одеялом. А на окне — радиорепродуктор.

У надзирателя все еще дрожали руки: такая неприятность в его дежурство. Задержал офицера: "Пусть он сначала возьмет еду". Конечно, я с удовольствием отпраздновал похлебкой свою микропобеду.

Господи, с каким удовольствием я лег в тот день на кровать!

### *Свердловское чудо*

Свердловское чудо — тюремный туалет.

Кровать занимала полкамеры — от дверей до окна (поэтому все четыре дня в Свердловске я лежал). А из оставшейся половины площади треть занимала дыра в полу, обыкновенная дыра, перекрытая крестом из двух металлических полосок — это и есть туалет.

...Утром после праздника в карцер пришел подполковник, грузный начальник режима (в карцер начальство заходит регулярно, в этом преимущество перед обычными камерами). Лениво любопытствовал: "Претензии есть?" — "Хочу спросить, как обращаться с этим агрегатом?" — указал на дыру. "Ах, это... Когда сходите по-тяжелому, зовите надзирателя, он пустит воду".

Так оно и делается. На металлическом кресте задерживаются экстременты, зовешь надзирателя, он за стеной откручивает кран, и струя воды, как из умывальника минут 5—7 по кусочкам уносит

содержимое вниз. А ты лежишь рядом и все это 5—7 минут созерцаешь и обоняешь.

Внизу, под полом, идет общая канализационная труба для всех камер, так что отходы одной камеры обязательно пройдут под всеми остальными, снабжая их ароматами через незакрывающиеся отверстия. Жалею, что не знаю фамилии изобретателя агрегата. Портрет конструктора я бы обязательно поместил в книгу на память всем его потомкам до пятого колена.

### *Обрывки массовой идеологии*

Как все на свете, свердловский туалет имеет, кроме минусов, свои достоинства. Канализационная труба, связывающая камеры, — отличное переговорное устройство. Если умеешь превозмогать обоняние, говори, с кем хочешь — все слышно. Как по телефону.

Со мной не слишком говорили — не о чем. Я как бы с другой планеты. Уже после первого знакомства хлопцы спросили с заметным почтением: "У тебя, может, высшее образование?" Вот уж чего я не ценил и не замечал в себе никогда — это высшего образования. Самые пустые, пропавшие, как дыра, годы жизни, — это студенческие. Высшее образование — "корочки", твердая обложка с вкладышем на право занятия определенных должностей: так оно воспринималось в моем кругу. Впервые я натолкнулся на слой людей, которые его всерьез воспринимали, для которых оно принципиально считалось недостижимым. (Потом много видел таких же в Ермаке.)

Ребят изолировали в карцерный блок специально на время суда, чтобы сидели поодиночке и не могли

сговариваться и влиять друг на друга — и снабдили этим идиотским туалетом, через который обсуждались все детали судебных заседаний. Традиция русского правосудия: сто лет назад в Санкт-Петербург привезли около двух тысяч участников так называемого "хождения в народ", поместили их в специально построенный для них Дом предварительного заключения (нынешний следизолятор КГБ) и... снабдили точно таким туалетом для связи. Большой частью незнакомых и неорганизованных юношей и девушек связали, наконец, воедино вонючей канализационной трубой, продержали возле нее два-три года, кое-кого довели до сумасшествия и смерти и, в конце концов, из мирных народников сплотили террористические кружки будущих цареубийц.

...Запомнились характерные шутки моих современников, уголовных бунтарей 70-х годов XX века. Возбужденный пацан, вернувшийся из зала суда, возвестил о своем прибытии: "Китайцы пришли!" На что последовало "ура!" всего карцера. Потом он же провозгласил: "Да здравствует наша советская родина, е... она в ж...!" Громовое "ура" поплыло над карцером при безмолвии надзирателя. Слушая их, я стал лучше понимать Сталина, который в 1941 году приказывал расстреливать всех эков, которых не успевали эвакуировать на пути немецкого наступления.

### *Общественный педсовет*

В прогулочном дворике пытаюсь сориентироваться, где именно находится тюрьма в Свердловске. Направо — строительство нового здания тюрьмы (надеюсь, с более современным проектом туалета),

налево видны какие-то осветительные приборы на металлических мачтах: похоже на стадион. Если не ошибаюсь, это район ВИЗа (Верх-Исетского завода) где я когда-то венчался.

Вдруг пристаёт солдат-часовой: "Что, хорошо тебе здесь?" Почему-то меня обидело, не сдержался: "Лучше, чем тебе!" — "Как это?" — "Так это. Я не цепной пес, а человек". Думал — изобьет, такие были глаза. Обошлось. Первая вылазка патриотов...

Возвратившись с прогулки, слушаю местное радио. Записываю на память детали свердловской жизни. Сообщают о диковинном (для меня) виде преступления в области — конокрадстве. Я о нем слышал только в цыганских рассказах А. М. Горького. Преступниками оказались малолетки. Интересно, зачем крадут коней в наше-то время? (В Ермаке выяснил: на мясо. Говядины не хватает, идет в ход конина.)

Спортивные новости. В области прошел конкурс на звание лучшего водителя грузовика на самой грязной и ухабистой дороге. В подробностях описывалось, как машины буксуют в грязи по ось и тонут в воде по кузов, как они сходят с трассы, но герой-победитель довел свой самосвал до финиша. Национальный советский вид спорта.

Хорошо была сделана передача "Общественный педсовет". Учителя высказывали, что они знают о пьянстве учеников (я тут же записал для памяти цитаты): "У 70% наших учеников один или оба родителя пьют регулярно..." ... "С восьмиклассниками приходится выдерживать настоящий бой, они твердят: взрослые все пьют, почему нам нельзя. Дети регулярно выпивают с 14—16 лет, а ведь когда начинают пить в таком возрасте — это неизлечимо на всю жизнь".

Записали радиожурналисты мысли учеников: "Дома мы получаем только прожиточный минимум. Чего мы хотим? Я, например, хочу, чтобы мама принимала моих товарищей как гостей. А еще больше хочу уйти из дому".

В финале передачи кто-то из учителей подвел итог свердловской педагогики: "Наша цель состоит в том, чтоб дети полюбили отца, не говоря уже о матери"...

По образованию я педагог, девять с лишним лет проработал в школе. Был подавлен — неужели все у них теперь действительно так? Проверить не сумел: по прибытии в Ермак милиция сообщила мне, что отныне работа в советской школе для меня — запретное дело. Не могу удержаться, чтобы не напомнить про это друзьям КПСС и поклонникам СССР, германским коммунистам, с их лицемерными жалобами на "запреты на профессии".

*Еще лирическое отступление -- о воле к истине  
и либеральной лжи*

В момент, когда перечитывал записи новостей свердловского радио, настоящее опять смонтировалось в мозгу с прошлым: западные радиостанции передают статьи и отклики на гарвардскую речь Солженицына, и эта речь, эта дискуссия сомкнулась с мыслями, вызванными свердловскими радиоматериалами.

Мне кажется, на Западе потому не понимают недовольства "русского Савонаролы", что миру избыточного океана информации чуждо пуританское в России отношение к общественному слову.

"Поэт, не тот, кто рифмует, поэт — это совесть народа" (Е. Евтушенко). Или "писатели — это ин-

женеры человеческих душ” (Сталин с его семинаристской любовью к катехизису). Это таится, действительно, в атмосфере России. Какой-нибудь подонок из последних газетчиков, сочиняя заведомо клеветническую статью или заметку, делает это не только ради денег или иных житейских благ. Он уверяет себя в общественной пользе своей лжи и потому в своей же общественной значимости, незаурядности — иначе не влиял бы он на умы населения. Не раз я наблюдал этот парадокс на практике.

У Запада иное отношение к слову. Г. Гессе определил его как ”фельетонистическое” (или развлекательно-газетное) и считал главной приметой — отказ от воли к истине. Не от истины (она встречается, и нередко), а именно от воли к ней, к ее познанию, отказ от желания ее добывать и в этом добывании увидеть профессиональный смысл жизни работника слова.

Солженицын, конечно, не мог принять такой ментальности. Для него, для русского человека, мир, где нет воли к истине, вообще не имеет достоинств. Так уж исторически устроена психология интеллигента в России.

Таково, во всяком случае, ощущение *здешнего* слушателя западного радио, причем слушателя предельно к этому радио благожелательного.

...Сейчас эфир из-за рубежа забит сообщениями о договоре СОЛТ-2. По словам западных корреспондентов, даже высокопоставленные советские сановники не знакомы с важнейшими деталями соглашения — что же тогда знают рядовые слушатели? И чем же Запад угощает нас? Анекдотами: ”Брежнев посетил оперу”; историческими фельетонами про Венский конгресс; прочим массовым и безответственным словесным товаром. Почему

сверхдержавы пошли на это соглашение, в чем конкретно заключались их противоречия, кто кому и в чем уступил — ни слова. Нет сведений? Тогда лучше ничего не передавать, ибо болтовню изложит Москва, у нее есть опыт.

Другая генеральная тема всех "голосов" сегодня — страдания вьетнамских беженцев. Ей-богу, предпочитаю слушать простую и ясную ложь советских комментаторов (якобы беженцы — просто китайские капиталисты), чем лицемерные вздохи и аханья европейских либералов. Разве не нынешние "сочувственники" несколько лет назад сделали все, что было в их силах и даже больше, чтобы сегодня в океане умирал миллион кхмеров и вьетнамцев, лаосцев и мео? Разве по счету Совести и Бога на руках мистера Макговерна, или мистера Пальме, или у журналистов из "Монд", или многих-многих активистов, сторонников мира, пацифистов — разве у каждого из них на совести нет хоть жалкой сотенки трупов в юго-восточной Азии?

Пусть не говорят, что, разжигая уверенность Вьетконга в победе и тем самым продлевая войну из года в год, они верили в мир и не ведали, что творили. Ведали. Не понимать могла, скажем, Джейн Фонда — ей, актрисе, дали мировую сцену, она вжилась в очередную роль и не хотела верить, что режиссер за кулисами пытается пленных американцев, чтобы они подыгрывали ей, что за стенами театра стреляют палачи, вдохновленные ее приездом как авансом будущих спецпайков... Но профессиональные политики и газетчики-обозреватели знали про миллионы трупов в будущих ГУЛагах заранее и заранее приняли решение сбросить эту карту партнеру по игре. Вьетнамцы — не европейцы, что считать эти головы!

Коммунисты действовали честно: ни Ле Зуан,

ни Пол Пот никогда не обещали, что будут править своими странами, соблюдая права человека. Все пацифисты знали о 50.000 вьетнамцах, погибших в концлагерях Севера до начала войны — разве симпатизировали бы они любому европейскому правительству или партии, повинным в таком преступлении? А массовые могильники в Гуэ, где лежали трупы пленных южновьетнамских офицеров с отрубленными головами — разве они не предупредили всех, кто не хотел намеренно ослепнуть, про геноцид в Кампучии, про лодки и плоты беженцев в Южно-Китайском море? Зачем же теперь стенать по радио с лицами, наподобие лица Урия Гиппа в тюрьме!

Солженицын так болезненно относится к евроамериканской "фельетонности", что знает: вот такая фельетонная пресса предшествовала Октябрю в России и — если верить Г. Гессе — так же январю 1933 года в Германии. Он мыслит и не может не мыслить близкими ему историческими аналогиями.

Я не люблю царскую Россию с ее культом имперIALности, чертой оседлости и прочим набором государственных прелестей. Я сочувствую правам человека и — как следствие — именно либерализму в царской России. И *вынужден* признать: либеральная печать до 1917 года, насколько мне удалось с нею познакомиться, систематически обманывала русских и российских людей. (В 1915—16 гг., например, она доказывала всеми способами, от передовиц до карикатур, что нехватка хлеба в столицах есть результат злонамеренной нерасторопности царских бюрократов — это на третьем-то году мировой войны, расшатавшей хозяйство и в более организованных странах Европы).

То, конечно, была не злонамеренная ложь, а

”ложь во спасение”, ложь с целью добиться ”хорошего”, ”просветить массы”, ”воспитать в них дух святого недовольства”. А чаще всего, безвольное плавание за модой — тогда антивоенной и направленной, действительно, против одной из самых омерзительных войн в истории; вчера — проветконговской, в бессознательной глубине которой лежало глубочайшее презрение к вьетнамцам и надежда показать себя ”умными прагматиками”, умнее недалеких американцев эпохи Джонсона, сегодня...

Солженицын, как мне кажется *отсюда*, видит опасность даже не в самой лжи, а в том, что ”фельетонистическая ложь” европейской прессы может породить в массе читателей тягу к иной форме познания истины.

В 1905 году В. Ленин обличал обычную форму европейской прессы (тогда европейской безусловно считалась и русская) с ее фактическим принципом: ”Писатель пописывает, читатель почитывает”. Взамен он предложил человечеству свой вариант литературы — из Воли к Истине отрезалась ”истина”, зато оставалась, в противовес ”пописыванью”, — Воля. ”Литература должна стать партийной, должна стать колесиком, винтиком общепролетарского дела”, — это мы заучивали наизусть в школе.

Это не так мало — Воля, дарованная литератору именем партии. Это дает ему логичность, стройность, убедительность концепции, следовательно, убедительность его писаниям или произведениям. Он становится Учителем Жизни, причем самое тяжелое — ответственность за ”истину” его проповеди с него снята, она лежит отныне на партии.

На Западе недооценивают опасность подобной литературы, несвободной из принципа, из желания стать несвободной.

Почему?

Может быть, из естественного презрения свободного человека к хаму и палачу, невежде и обманщику. Россию на Западе боятся, с ней считаются, но одновременно невероятно, как-то нутряно ее презируют. Может, потому так легко и бесстыдно льстят, что презируют: лезть в этом случае не унижает льстеца в собственных глазах, как капитана Кука или Миклухо-Маклая не унижала необходимость назвать "сыном Неба "или" Великим Орлом" какого-нибудь деревенского старосту с кольцом в носу и раскраской на пузе.

Можно презирать страну, которая имеет лучшие в мире леса, но, по слухам, бумаги в ней не хватает даже на партийную газету. Это бросается сразу в глаза. Меньше бросается в глаза, что бумаги не хватает еще потому, что население этой бедной и варварской страны жаждет читать газеты — хотя бы партийные, жаждет информации. У него "голодное сердце", по вещему слову Э. Жаботинского, а нация с "голодным сердцем" может стать нацией будущего: вот что никак нельзя упускать из внимания.

И опять: можно презирать страну, имеющую самые большие в мире поля и самый большой в мире дефицит сельхозпродуктов; первую нефтедобывающую державу планеты, которая в долгах по горло. Это просматривается любым дешевым фельетонистом. Но эта же страна создала население, которое все поголовно работает, для которого труд стал таким же элементом жизни, как ислам для мусульманина. Страна, которая сумела воспитать население ста наций в едином духе труда и поглощения знаний, нужных властям, — она может нанести сокрушающий удар тем, кто высокомерно ее недооценивает.

Когда американские сионисты беседовали в Вене с евреями, выехавшими из СССР, они с изумлением поняли, что эти люди, отнюдь не коммунисты, более того, стихийные диссиденты, раз уж они покинули Союз, безусловно доверяли многим фальшивкам советской пропаганды. Ибо эти фальшивки логично и правдоподобно были построены для каждого, кто *захочет* в них поверить, и "фельетоном", скольжением по анекдотам, почерпнутым в приемной у посла соответствующей державы, с ними не возможно справиться.

Солженицына страшит сытое высокомерие, лишаящее свободных людей не только бдительности, но и совести, ибо без совести погибнет свобода Запада, а с ней свобода всех народов Земли.

Снова повторяю: так это кажется отсюда, из Казахстана. Но у меня же нет возможности проверить, многое ли я знаю и все ли обстоятельства учел.

Последний виток галопирующей мысли — и обещаю не отвлекаться, вернуться к плавному ходу основного повествования. Уязвимым местом партийной литературы, то есть волевой лжи, является необходимость менять концепции. В логичности и непротиворечивости — единственная сила лжи, а новая концепция обычно вступает в противоречие со старой "Правдой". Чтобы человеческая память не освежалась чрезмерно, комплекты старых советских газет (в мое время — с 1917 по 1953 гг.) выдавались только в центральных библиотеках страны и только по специальному разрешению.

Моя жена считала, что тайна моего ареста кроется в том, что я имел такое разрешение и помнил то, что прочитывал в пожухлых от времени номерах "Правды". "Тебя арестовали, — писала она в зону, — потому что слишком многое сумел узнать и не мог этого скрыть".

Возможно, в рассуждении далекой от политики женщины имелся резон.

### *Начальство с отрицательным знаком*

12 мая вечером лежу, читаю словарь. С утра предупредили, что сегодня этапа не будет.

— Хейфец? На выход.

Как хватило ума спросить мента: "В другую камеру или на этап?"

— На этап.

Счастье, что в камере есть туалет, хоть диковинный: самое главное перед внезапным этапом.

— До свиданья, — кричу в коридоре. — Ухожу на этап!

— До свиданья! — забухало изо всех камер.

Пришедший за мной молодой, лет 20-и, надзиратель в полуштатской форме неожиданно ощерился:

— Я тебе покажу "до свиданья". Снюхался уже с бандитами, сволочь-антисоветчик. Дам раза два по морде!

Еще один редкий случай, когда открыто декларируется идеологическая неприязнь! Все гебисты затронуты скепсисом, а МВД просто мучается от тех же бед — нехватки продуктов, дурно поставленного быта, произвола начальства и скрытой, но колоссальной инфляции — от которых сатанеют обычные советские граждане. Нас в МВД считают не врагами, а просто дураками, которые с голыми ладонями лезут развалить Вавилонскую башню. И вдруг в Свердловске во второй раз "мент" нападает на кого — на меня?! — за что? — за идеологию??

— Что тут за патриот объявился? Это не ты, моло-

дой человек, ехал на БАМ и по пути задержался подработать тюремщиком?

— Сейчас врежу!

— Да ничего ты не сделаешь! — взрываюсь. — Полковники КГБ со мной разговаривали и то ничего не добились.

Смотрю из парня выпустили воздух. Увял, как фиалка... Ей-богу, умысла такого не имелось, но упоминание про полковников-гебистов вознесло меня на иной уровень, куда ему, рядовому дураку, и на приступочку хода нету. Я стал кем-то вроде начальства, хоть и с отрицательным знаком: "Ошибка вышла, ваше превосходительство!" По инерции он ворчал: "Вот посажу в плохую камеру", но посадил — в самую лучшую, я их уже проглядел все при прибытии.

Минут через двадцать ее дверь отворилась, и оказался конвой, старые знакомые.

— Это ты! — восторженно приветствовал Иванушка.

— Смотри, опять еврей, — восхитился армянин.

*Прощай, Европа, здравствуй, Сибирь...*

На вокзале принял новый этапный конвой.

Начальник — молодой прапор-украинец, светло-волосый, кареглазый.

Помощник — молодой сержант резко выраженного монголоидного типа.

С молодыми идти этапом плохо: они службы не знают, всего боятся и все запрещают. Сначала нас продержали полчаса на корточках, хотя в этом не возникало никакой нужды — ночью на вокзале никого не было (на корточки сажают, чтобы уменьшить риск побега в толпе). Потом всю ночь продер-

жали в вагонзаке на путях и соответственно опять не водили в туалет. Меня это не касалось, у меня приспособление находилось перед отправкой в камере, но бедные бытовики грозили разнести вагон. (О, преимущества карцера!) Кто-то из соседей жалобно стонал: "Гражданин прапорщик, поглядите мою спину... Видите, внизу шрам... У меня удалена почка... Мне нельзя без туалета..." Стоны зэка в соседнем купе, который, видимо, спустил штаны и повернулся ягодицами к начальнику, еще более разжигали мочеполовые страсти остальных. Когда прапор понял, что вагон разнесут и отвечать придется ему, он сдался: "По-легкому — в туалет, а по-тяжелому терпите до утра". Солдаты всматривались в прорезь на дверях туалета: в какой позе находится там зэк.

С рассветом тронулись, ехали по знакомым с юности улицам, где когда-то гулял с невестой. Вот и путепровод, а справа дом, где прошла моя "медовая неделя" — все никак с тех пор не мог собраться навестить родителей жены. Наконец-то, "выбрался" в Свердловск — "нашел место и время". Медленно откатывалась назад за окном Генеральская улица.

## Глава пятая

### ЭТАП СВЕРДЛОВСК—ПЕТРОПАВЛОВСК В КАЗАХСТАНЕ

12 мая—14 мая 1980 года

*Новелла о свидетеле обвинения*

Ночь в Свердловске дала настрой на весь этапный перегон: конвой постоянно угрожал зэкам избие-

нием. Мой сосед, старый шофер, стыдил солдата: "Ну, выведешь пацана, изобьешь — можешь, я знаю, а зачем? Самому потом скверно придется". Скоро целым купе "химики" навалились на начальника-прапорщика:

— Ты же молодой парень, мы едем освобождаться, мы "химики", ты выйдешь в город, шкуру эту мерзкую, зеленую стащишь, выпить захочешь, а у кабака мы стоим. Как нам в глаза посмотришь?

— Да ведь служба! — надломился молодой украинец.

— А мы что, не служили? Кому лапшу вешаешь?

— Видишь моего помощника, ну, этого, желтого?

— Ну?

— Больше я тебе ничего не скажу. Если, правда, служил — сам поймешь.

Но после этого разговора прапор засел в купе начальства и в коридор оттуда не выходил.

Зато расхозяйничался без него сержант. Весь суетится: то кому-то запрещает лежать, то напротив орет, чтобы лег, то "встань", то "подвинься"... Обыскал — от себя лично — мои вещи, нашел коллекционные карточки-закладки для открыток Бори Пэнсона: на каждой закладке схематически изображена местность в Израиле, которой посвящен тот или иной раздел коллекции. Сержант отобрал закладки: "Заклученным запрещается иметь карты. Вдруг убежишь".

Первым не выдержал кто-то из соседей: "Слушай, я жил среди вашего брата, узбеков. В жизни вы люди хорошие, а как нацепите эти гнусные погоны, сразу в скотов превращаетесь.

И вдруг сержант оскалился, как гиена:

— А вы, русские, в кого превращаетесь, когда свои погоны нацепите?

Эге, стукнуло, а с ним имеет смысл поговорить.

Если бы узнать его национальность, это верный ключ. Он не узбек, нет. Слишком желтые щеки, не тот разрез глаз. Кто?

В соседнем купе-камере послышалось слово "калмык". По-моему, не в связи с сержантом, но я вспомнил черты калмыка, с которым сидел в лагере, и понял: десятка!

А он как раз подвалил к моей камере, ухмыляется, стервец:

— Расскажи, что не нравится в политике партии?

— А у Вас есть время послушать? Одним словом не скажешь.

— Есть. Все равно на посту дежурить. Со скуки какую х...ю не слушаем.

— Только расскажу не теорию, а один случай, и сами решите, что может не нравиться в политике партии.

— Валяй, трепись.

Пацан, мальчишка, а так разговаривает!

— Привезли к нам в семьдесят пятом году на семнадцатую зону в Мордовии, числа не помню, было это осенью...

Умышленно наворачиваю документальные подробности.

— ...калмыка Дорджи Эббеева, осужденного за измену родине во время войны...

Лицо сержанта — как гипсовая, нет, как террако-товая маска.

— ...шахтер в Воркуте, тридцать последних лет рубал под землей уголь в Заполярье. Имел два ордена "Шахтерская слава". История его преступления такая: Дорджи был племянником национального героя калмыков, знаменитого революционера, министра просвещения в калмыцком коммунистическом правительстве, кажется, до 35 года. Потом дядя был расстрелян в чистке, а через четыре или

пять лет после его казни в Калмыкию пришла шестая немецкая армия...

Ни одна складочка не шевелится на лице сержанта.

— ...провели немцы мобилизацию местного населения. Дорджи тоже взяли в армию, хотя ему исполнилось всего 17 лет. Узнав про его дядю, немцы назначили его командиром эскадрона. Три года провоевал, попал в плен к Советам. Отсидел десять лет, вышел в 55 году и работал там же, на Воркуте, шахтером. Через двадцать лет его снова арестовывают. Два года идет следствие, и по новым эпизодам приговаривают к смертной казни. Полгода держали в камере смертников — ты знаешь, что такое сидеть в такой камере?

— Да. — Сглотнул, и вдруг неожиданно целая фраза: — Я и сам калмык: между прочим.

— Дорджи не слишком переживал: знал, что нет за ним дел, которые потянут на смертную казнь, не делал он такого, за что казнят. Неосторожно сказал следователям: все равно мне заменят "вышак" на пятнадцать лет, десять из них я по первому заходу уже отсидел, два с половиной года под следствием прошло — останется два с половиной года, перетерплю!

Вызвали его к начальнику изолятора, объявляют: замена вышака пятнадцатью годами.

Привезли в зону. И тут выяснилось: сидеть пятнадцать лет ему придется без учета тех десяти лет, которые он уже когда-то отсидел за это же самое дело. То есть фактически, хотя по закону нельзя давать срока больше, чем 15 лет, ему определили сидеть 25! Теперь понял, чем такие, как я, недовольны. Не будем спорить о законах, какие они у нас, не будем говорить о том, на самом ли деле виноват Дорджи и как шло его следствие, но даже

эти законы, советские законы, которые Вы сейчас охраняете, нарушаются самой властью наглым и подлым образом!

Сержант вдруг замотал головой, будто вокруг лица жужжала надоедливая муха.

— Я и сам думаю, как Вы...

Кажется, сразу испугался сказанного и почти на полусогнутых умчал в служебное купе. До самого Петропавловска не появлялся в коридоре, и теперь, без него и прапорщика, зэки отдыхали спокойно.

...А всей правды о деле Дорджи Эббеева я этому парню не рассказал: всю правду знают, пожалуй, только сам Дорджи, гебисты и я, потому что мне он доверил написать надзорную жалобу в Верховный суд.

Началось это в сорок пятом году, когда Эббеев попал в фильтрационный лагерь советских пленников: двадцатилетнему калмыку с самого начала угрожал смертной казнью первый следователь и — сломал его. Дорджи согласился играть роль в гебистской провокационной пьесе: переделся в форму советского офицера и ходил по зоне в сопровождении следователя, указывая ему на своих бывших командиров в калмыцком полку вермахта.

Так создавались легенды, что "они все знают, у них везде свои люди есть" — вон и Эббеев, оказывается, советский сокол, засланный своими орлами в тыл врага. Так ломалось сопротивление обвиняемых на допросе, а Эббеев за услугу получил всего десять лет каторги.

Окончив их, он время от времени снова вызывался свидетелем обвинения на процессы земляков, что не мешало ему вести жизнь добропорядочного обывателя-шахтера, обладателя "полярных коэффициентов", автомобиля (в СССР — признак особой

зажиточности) и слить щедрым другом всех земляков, прибывавших в Воркуту.

Однажды он пришел в гости к землячке, которой помогал материально и муж которой еще отбывал срок в зоне. Хозяйки не было дома, а на столе он увидел распечатанное письмо из зоны. Дорджи сунул в него нос и с ужасом прочитал: "Скоро кончится мой срок, встречу с ... — следовал перечень фамилий бывших сослуживцев по калмыцкому полку, — ... и тогда рассчитаемся с Эббеевым за его штучки".

Пока не пришла хозяйка, Дорджи схватил письмо и помчался прямо в местное ГБ, где передал листок под расписку дежурному офицеру.

Потом — арест, потом — расплата: показания против него дали именно те калмыки, которые перечислялись в письме.

Я вовсе не хочу этим сказать, что они оклеветали Эббеева, дав на него ложные показания. То, что они сказали, вполне походило на правду и могло ею быть. Основным пунктом обвинения против Эббеева стало описание разгрома, которому эскадрон калмыков подверг польский партизанский отряд. Взятые после боя пленные поляки, согласно показаниям свидетелей, были расстреляны по приказу комэска, т. е. Дорджи.

Излишне объяснять, что все мои политические, человеческие и прочие симпатии и сочувствие на стороне польских партизан. Но вполне допускаю, что Эббеев сделал то, в чем его обвинили свидетели, и все-таки он не зверь в моих глазах. Шла жестокая, жуткая война, все понятия морали были извращены, и я знаю, что польские партизаны, попади к ним в плен калмык, расстреляли бы его с той же естественностью, с какой он мог отдать приказ "вывести их в расход".

Но это лирика, а что касается юриспруденции, то Дорджи просто отрицал, что "такой факт имел место". Доказывал, что свидетели заранее сговорились его оклеветать и просил разыскать и приобщить к делу письмо из зоны, переданное им в ГБ. Тут начались странные шутки Кота-Бегемота: письмо не нашли зарегистрированным в делах, офицер, принявший его из рук Эббеева, по справке с места службы уволился из органов и разыскать его не представляется возможным... Тогда Эббеев просил разыскать гебиста, которому он помогал в срок пятом году. Но и этого наши бедные органы не могли разыскать в стране всеобщей паспортной системы.

На суде Дорджи указал, что спас одного партизана — тот согласился явиться в суд и подтвердить. Судья отвел свидетеля: "Вы его спасли не потому, что он был партизаном, а потому, что он родственник вашей жены". — "А что, родственника жены нельзя спасать, если он партизан?" — спросил Эббеев, не вызывая вопросом лишних симпатий у суда.

Наконец, подсудимый стал ссылаться на свои ордена "за труд" под землей, на воспитанных им детей и внуков (у всех образование), на активную деятельность в школьном родительском комитете.

— Хитрый и опасный враг Эббеев, — сделал окончательный вывод судья, — сколько лет и как хитро маскировался!

...Вскоре после подачи надзорной жалобы его этапировали с нашей зоны. О дальнейшей судьбе калмыка я услышал от Петра Саранчука, прибывшего через два года со "спеца", где обычно держат помилованных смертников.

— Эббеев у нас, на "спецу". Когда гебисты стали

его на 19-й зоне вербовать в стукачи, уговаривали: это мы тебя от спеца спасли, работай на нас. Он скинул черный бушлат, отвечает: дайте полосатую робу, положенную! Его потому и арестовали — понадобился им стукач на строгом, прошлое у него подходящее, думали — безотказно поработает. А он пока что ничего, держится честно, — закончил рассказ о свидетеле ГБ Петр Саранчук.

*Я — украинская художница Стефания Шабатура*

За окном станционная вывеска: "Станция Макушино".

По коридору проводят эчку удивительного обаяния. В платье — значит, только что из-под следствия.

— За что? — спрашивает ее солдат. Она назвала номер статьи.

— Хату держала?

"Хатой" или "блатхатой" называют притон, где собираются блатные. Она кивнула.

— Замужем?

— Да.

— Муж будет ждать?

— Будет. Он у меня замечательный парень.

Потому ее и запомнил: уж слишком неожиданно прозвучала высокая лирика в проституированной команде, слишком странной показалась лексика молодой женщины. Солдаты всю дорогу относились к ней с подчеркнутым уважением — на них тоже произвело впечатление...

Смотрю на макушинский перрон и мечтаю: а вдруг произойдет чудо и по вокзальной площадке пройдет сосланная сюда Стефа Шабатура.

...Я видел ее раз в жизни 24 марта 1976 года —

возвращался этапом со своей первой "профилактики" в саранской тюрьме. Сгрузили меня из вагон-зака, а "воронок" по причине оттепели и грязи остановился в двухстах метрах от подножки вагона. Конвой поленился вести меня до машины — сам дойду, никуда не денусь.

Посреди пути, на изгибе дороги стояла толпа зеков, ожидавших погрузки. У самого края — двое: женщина с исхудалым лицом и светлыми глазами, молодая на вид, но с резкой седой полосой, пересекавшей голову, и рядом — молодой парень, пламенно восточного типа, черноволосый, черноглазый, худой, как будто остался один череп, с большим орлиным носом. Этот симпатичный кавказец на секунду наклонился к женщине\*, и она тут же окликнула:

— Вы — Хейфец?

Я остановился, повернулся к ней, как бы отдыхая на дороге, как бы меняя руку, державшую чемодан.

— Да.

— Стус у вас, на семнадцатом?

— Да.

— Как он после больницы?

— Неплохо. Мы приняли его, как брата.

— Передайте ему: у меня отобрали все рисунки, все сделанное. Я — украинская художница Стефания Шабатура... Голодную сегодня в знак протеста девятый день. Меня наказали, везут на шесть месяцев в ПКТ...

В этот момент солдаты закричали, я краем гла-

---

\* Впоследствии этот зек, Размик Маркосян из Национальной Объединенной партии Армении, стал моим близким другом. Он знал обо мне из посланий своего руководителя Паруйра Айрикяна, рассылаемых по лагерям управления.

за заметил, что они побежали ко мне, кивнул Стефе на прощание и — потащился к "воронку".

...Когда я появился на зоне, надзиратель Чекмарев, худой, похожий на голодную уличную кошку, обыскивал меня с каким-то неслыханным усердием. Взял, например, календарик-стереооткрытку и разломал пополам — не спрятано ли что внутри стерео?

— Чекмарев, что Вы делаете? — зашумел я. Обычно при обысках не спорю, но тут мент явно вышел за пределы собственных норм. — Я приехал из следственной тюрьмы КГБ, что я мог привезти оттуда запрещенного в зону?

— Мало какие контакты были в дороге, — промурлыкала кошка. — Сами знаете, какой Вы человек.

Это так польстило, что я заткнулся и позволил ему доводить шмон до лакового покрытия. Все, что нужно было, я вез в голове.

...А информация о голодовке Стефы Шабатуры через десять дней ушла из зоны на волю.

\*

Россия позади. Первая казахская тюрьма на дороге: Петропавловск-Казахстанский. Посмотрим, каковы республиканские тюрьмы?

...Ночь. Меня вводят в небольшую камеру без окна, трубообразной конструкции — в высоту, видимо, около четырех метров, в ширину и длину поменьше. Все нормально — грязь, вонь. Клопов не видно, стены под шубу.

Голоса соседей:

— Кто?

— Политический, статья семидесятая.

Чей-то хохот: "В СССР нет политических заключенных".

— Как слышите, есть.

— Да я и сам такой, — поясняет хохочущий, — получил три года в Душанбе по сто девяностой прим.\*

— А что за дело?

— В зоне сидел. Мы листовки по городу распространяли. Пять челоек. Мать на свидании рассказывала: про вас за граница передавала!

— Куда теперь?

— В Коми этапируют.

Повезло мужикам! Если бы они распространили листовки в зоне, а не в столице Таджикистана (и слухи об этом дошли до Москвы и оттуда до Запада), им бы вломили по семидесятке и — на "особый режим"! А так отделались шуткой...

Начинает расспрашивать про мое дело.

— Я с этапа, здорово устал. Обговорим утром, ладно?

— Ништяк! — так я впервые услышал это блатное словечко, обозначающее "хорошо, идет". — Этапа до двадцатого не будет, за неделю потолкуем.

Соображаю: если уеду отсюда не раньше двадцатого, освобожусь уже не в марте, а в феврале 1980 года. С этим приятным расчетом засыпаю.

Утро, подъем.

— Политический! — окликаю вчерашнего соседа.

— Убыл в шесть утра на этап, — отзывается соседняя камера мелодичным, в ласковой тональности баритоном.

---

\* 190—1 — статья о наказании за "клеветнические высказывания" против советской власти: самая мягкая из политических статей — до 3-х лет общего режима.

Потом оттуда же доносится странная песня о неверной любимой:

Ты называла меня своим ласковым мальчиком,  
Ну, а себя непоседливым солнечным зайчиком.

Песня обрывается.

- Новенький, как тебя зовут?
- Михаил.
- Михаил, а ты знаешь, кто рядом с тобой сидит?
- Ну?
- Смертник! Смертни-и-ик, Михаил!



Владислав КРАСНОВ

## Воскрешение Столыпина

*"Вести Россию новым необычайным средним фарватером".*

*"Преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства – душе народной..."*

Уже первый вариант (1971) солженицынского "Августа Четырнадцатого" подвергся критике за огромный объем, и некоторые западные литературоведы решительно отнесли его к категории тех "огромных, рыхлых и мешковатых чудищ", которые, по мнению американского классика Генри Джеймса, характерны для Льва Толстого да и вообще для русской литературы<sup>1</sup>. Новый вариант "Августа" (1983) почти в два раза длиннее. Неиз-

---

\* Из доклада, прочитанного по-английски на 3-м Всемирном конгрессе советоведов в Вашингтоне, США, в ноябре 1985 г.

бежно возникает вопрос: зачем же понадобилось писателю удлинять и без того длинный "узел"? Как бы предвосхищая этот вопрос, в интервью с Бернаром Пиво Солженицын сказал, что сначала задумал вывести Октябрьскую революцию из Первой мировой войны и потому начал эпопею "Красное колесо" с августа 1914,

А несколько лет назад я понял, что все еще недостаточно готов к описанию революции, что только из войны революцию понять невозможно, надо дать читателю ход революционных идей и событий, нарастание революционного террора и революционного движения в России за более длительный период. И тогда я стал отступать от 14-го года, сперва к 11-му году, к убийству Столыпина. Потом, оказалось, нужно отступить к 1905, к началу века<sup>2</sup>.

Ясно, что, поскольку главной задачей эпопеи является объяснить "откуда пошла ешь" Октябрьская революция, план эпопейных узлов не мог не измениться по мере накопления у автора новых материалов об эпохе. Лучше было бы, конечно, сначала иметь все факты и мысли эпохи под рукой, а потом соткать их сразу в единый романный узор единым взлетом творческого вдохновения. Увы, эта роскошь, которую мог позволить себе Лев Толстой, совершенно недоступна для нашего современника. Ведь "несколько лет назад" он был, вероятно, еще в Союзе. Уже тогда, сознавая ущербность своей документальной основы, он обратился к читателям старого "Августа" с просьбой "о критике, поправках и дополнениях". Оказавшись же сам на Западе, в Швейцарии, он не мог не обогатиться новым материалом о Ленине, а "Весной 1976 писатель собрал в Гуверовском институте в Калифорнии обширные материалы об истории убийства Столыпина", говорится в послесловии к новому изданию (545—46)<sup>3</sup>.

Помимо новых глав о современных "Августу" исторических фигурах Ленина и Николая II, основной массив дополнений, главы 63—73, посвящен событию трехлетней давности — убийству Столыпина Богровым 1 сентября 1911 года. Типографически этот ретроспективный массив выделен внутри текста титульным листом "Из узлов предыдущих" с датировкой от сентября 1911 по 1899 год. Здесь мы постараемся определить основную тематическую функцию этих "несовременных" "Августу" глав, сосредоточив внимание в первую очередь на главе 65, в которой дается обзор деятельности Столыпина вплоть до рокового сентября 1911-го.

### *1. Очерк о Столыпине*

Именно этой главе, набранной петитом и самой длинной в романе, автор предпослал следующее замечание в скобках:

(Хотя наш неизбежный очерк о Столыпине и деле его жизни будет как можно деловит и сжат, автор приглашает погрузиться в подробности лишь самых неутомимых любознательных читателей. Остальные без труда перешагнут в ближайший крупный шрифт. Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки.) (169)

Можно предположить, что хотя очерк о Столыпине "неизбежен" для автора скорее в историческом, чем художественном смысле, он тем не менее считает восстановление памяти о Столыпине своей художественной задачей. Пусть сейчас не все историки перебиты, но писать свободно о Столыпине они все равно не могут. Поэтому солженицынский литературный портрет Столыпина должен рассмат-

риваться прежде всего на фоне советского пропагандного историографического мифа о Столыпине.

Что же в самом деле знает о Столыпине большинство советских читателей? Да только "стольпинские галстуки" да "стольпинские вагоны", — предполагая при этом, что и те и другие были орудиями "стольпинской реакции" (на "галстуках" — революционеров вешали, а менее строптивых паковали в "вагоны" для отправки в Сибирь). Те же образованцы, которые изучали историю по Краткому курсу, вспомнят еще о его "бонапартистском перевороте", ну и об аграрной реформе, которая хоть и признается "объективно назревшей", но тут же сбрасывается со счетов как запоздавшая, половинчатая, контрреволюционная и неудавшаяся. Вот и в последнем издании БСЭ читаем, что Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911), министр внутренних дел, а потом и председатель Совета министров, "Руководил подавлением Революции 1905—07, поощрял деятельность военно-полевых судов и применение смертной казни (по имени С. веревка для повешения стала называться в народе 'стольпинским галстуком')". И еще: "Предложил аграрную реформу с целью создать опору царизма в деревне в лице кулачества... Был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым". О реформе же еще добавлено, что она была царско-помещичьей попыткой "провести объективно назревшую ломку пережитков крепостничества" и провалилась якобы в результате "усиления борьбы деревенской бедноты против кулачества"<sup>4</sup>.

На фоне этого пропагандного мифа солженицынский очерк о Столыпине читается как настоящее откровение. С чуткостью художника к словесному материалу, Солженицын находит в самой фамилии

героя тот символ, тот *характоним*, который лучше всего характеризует его как государственного деятеля: "В оправдание фамилии, он был действительно столп государства. Он стал центром русской жизни, как ни один из царей" (223). Был ли этот "столп" отечества заменимым или нет, но после его крушения от пули террориста в 1911 году царь не нашел ему замены, и три года спустя Россия вступила в мировую войну уже покренившись, пока не обрушилась совсем в 1917-м.

Что же касается крестного имени Столыпина, Петр, то здесь автора интересует не его этимология, а исторический резонанс:

Это опять был *Петр* над Россией — такой же энергичный, такой же неутомимый, такой же радетель производительности народного труда, такой же преобразователь, но с мыслию иною, и тем отличаясь от императора Петра... (223)

Оставляя пока в стороне их отличие, скажем только, что по замыслам Солженицын ставит Петра Столыпина выше Петра I. По более конкретным аспектам его деятельности Солженицын сравнивает Столыпина с другим великим русским реформатором, императором Александром II. "Своей ключевой земельный закон", пишет Солженицын об аграрной реформе, "Столыпин понимал как вторую часть реформы 1861 года. Это и было истинное, полное освобождение крестьян, опоздавшее на 45 лет" (193). И опять Солженицын ставит своего героя выше его царственного предшественника. Наконец, оценивая Столыпина по международной мерке, Солженицын ссылается на мнение кайзера Вильгельма II, который считал Столыпина "дальновиднее и выше" Бисмарка (221).

Трагическая ирония истории России, — что ее лучшие преобразователи и освободители были убиты

террористами, — не ускользает от внимания художника, как и тот факт, что убийство Столыпина произошло не когда-нибудь, а именно во время празднования полустолетней годовщины освобождения от крепостничества. Наконец, тот факт, что убийство произошло в Киеве, изображается роковым предвестием грядущей гибели русского православного государства, как оно установилось со времен киевского крещения. По сравнению с его царственным предшественником Столыпину выпала особенно горькая судьба: не только сам он был уничтожен физически, как Александр II, но и детище его духовное (аграрная реформа) было аннулировано революцией, политические завещания утаены, и само имя обесчещено, оклеветано и оболгано. Читая очерк, чувствуешь и еще одну иронию: что сам Солженицын открыл для себя Столыпина вполне только на Западе, и что настолько эта фигура стала для автора откровением, что он считает своим нравственным долгом включить ее в эпопею, даже рискуя "изломом романной формы". В новом "Августе" Солженицын извлекает Столыпина из бездны клеветы и забвения, восстанавливает "изломанную" историю России, воскрешает память об убиенном за веру государственном деятеле, мученике и герое<sup>5</sup>.

Солженицын ставит в заслугу Столыпину его деятельность в трех областях. Во-первых, Столыпин чуть ли не единолично извлек Россию из хаоса терроризма, парализовавшего страну после революции 1905 года. Да, он был решительным противником революции, но "боролся /с ней/ как государственный человек, а не как глава полиции" (193), пишет Солженицын, как бы полемизируя с БСЭ. Государственный талант Столыпина особенно проявился во второй области его деятельности, серии либе-

рально-демократических реформ, главная из которых — освобождение крестьян от деревенской общины — начала быстро осуществляться, и только убийство Столыпина и мировая война замедлили ее, а революция совсем остановила и аннулировала. Третью область заслуг Столыпина Солженицын видит в еще более обширных планах реформ, которых не удалось даже начать.

Подтекстно полемизируя с официальной советской историографией<sup>6</sup>, Солженицын разрушает миф о Столыпине как реакционном политике, защищавшем якобы лишь свои личные и классовые помещичьи интересы. Солженицын определяет политическую линию Столыпина по двум параметрам: во-первых, это была русская национальная линия (а не классовая); во-вторых — консервативно-либеральная и прогрессивная (а не реакционная или охранявшая *статус кво*). Несмотря на то, что он видел всю ущербность "малоумного виттевского манифеста" (188), Столыпин верил в необходимость выполнения царских обещаний и, вступая на пост премьера, сознавал: "Какая ни создавалась в России конституция, разделившая прежде единую власть, — ему теперь доводилось первому с этой конституцией обращаться, учиться самому и учить других — вести Россию новым необычайным средним фарватером" (179). Вот за этот-то "средний фарватер", за политическую умеренность и за настояние на сотрудничестве законодательной и исполнительной властей Столыпина и ненавидели "враги на двух крылах: крайнеправые, желавшие изорвать Манифест и вернуться к бесконтрольному управлению, и по-русски неумеренные либералы, желавшие не хода кораблю, но завалить его на противоположный бок и придавить противников" (179). Солженицын так суммирует заслуги Столыпина перед родиной:

”Он принял государственную жизнь в расползе и хаосе — и вытягивал созидательно ’к России, свободной от нищеты, невежества и бесправия’ /из речи Столыпина/” (201).

Солженицын изображает Столыпина абсолютно бескорыстным человеком, у которого ”ни в каких его действиях никогда не бывало личных расчетов” (217). Более того, жизнь Столыпина была жертвенной. Он и раньше, будучи губернатором в Саратове, подвергался нападениям террористов, но, вступив на пост премьера, Столыпин стал их главной мишенью. В одной из бесчисленных атак была изувечена его рука, в другой — тяжело ранена дочь, а взрывом на Аптекарском острове было убито 27 человек, хотя сам премьер был только обрызган из чернильницы, отброшенной взрывной волной. В анонимных письмах террористы грозились убить его единственного сына. В дни ”разгула столыпинской реакции” премьер признавался своим близким:

Каждое утро творю молитву и смотрю на предстоящий день как на последний в жизни. А вечером благодарю Бога за лишний дарованный в жизни день. Я понимаю: смерть как расплата за убеждения. И порой ясно чувствую, что наступит день, когда замысел убийцы наконец удастся... (190)

Жертвенность в характере Столыпина сочеталась с огромным мужеством, самообладанием и благородством. Когда некий Родичев, думский депутат от кадетов, инсинуируя попустительство Столыпина в якобы произвольном осуждении революционеров на смерть, пустил в оборот выражение ”столыпинские галстуки”, Столыпин принял это как личное оскорбление и вызвал обидчика на дуэль. ”Я не хочу остаться у своих детей с кличкой вешателя”, объяснил он свой вызов, отлично понимая при этом, что ставит на карту не только свою жизнь, но и обширные планы преобразования России, кото-

рыми особенно дорожил. Итак, "премьер-министр, 45-летний отец шестерых детей, не поколебался поставить свою жизнь", но Родичев "не был готов к такому повороту. И — пришлось помятому оратору в этот же перерыв поплестись в министерский думский павильон просить у Столыпина извинения. Столыпин смерил Родичева презрительно: 'Я вас прощаю', — и не подал руки" (209). После этого Родичеву пришлось взять свои слова обратно и с думской трибуны. Тем не менее, подхваченное либеральной прессой, клеветническое выражение продолжало мусолиться и наконец окостенело в советских энциклопедиях, да еще и с определением как "народное".

Как ни документален портрет Столыпина, он предстает перед читателем таким необычайно положительным героем, каких русская литература не знала с летописной эпохи. Очерк о Столыпине представляет собой своего рода житийную вставку в летописную эпопею революции. Уже само назначение "никому не известного... без единой орденской ленты... неприлично молодого" провинциального губернатора на пост министра внутренних дел, а потом и премьера Солженицын изображает как "чудо русской истории" (173). Однажды монарх, "не слишком напряженный читатель"<sup>7</sup>, прочел в докладной записке неизвестного губернатора мысли о том, что община тормозит производительность крестьян и потому ведет их к обнищанию, "прочел, и стебель их пробился к его сердцу, отнюдь не бесчувственному". Правда, назначение во время революционного разгула было "даром отравленным", так как уже двое предшественников на посту министра внутренних дел было убито террористами. Столыпин хотел было отказаться, не из боязни, а из скромности, но — "Нет, Государь в этот раз не колебался". Вся последующая жизнь

Столыпина стала поединком "рыцаря с открытым забралом" с революцией, и смерть пришла, как он и предчувствовал, *расплатой за убеждения*.

В числе этих убеждений была, далеко не модная в то время, вера Столыпина в Россию и русский народ. Солженицын называет Столыпина создателем "русской линии" (207) как одного из двух главных параметров государственной политики. Вопреки утверждениям БСЭ, что Столыпин старался с помощью реформ "создать опору царизма в лице кулачества", Солженицын изображает Столыпина радеющим о благосостоянии *всего* русского крестьянства. Обращаясь к Думе, Столыпин говорил:

Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах — в развитии земщины и в развитии самоуправления. В создании на низах *крепких людей земли*, которые были бы связаны с государственной властью. Низов — более 100 миллионов, и в них вся сила страны (207).

Ясно, что речь идет не о паре миллионов кулаков, а обо всем русском крестьянстве, участие которого в политической жизни страны было невозможным до тех пор, пока община сковывала его инициативу и обрекала этим на нищету, невежество и бесправие.

Уже вступая на свой пост и готовясь к сотрудничеству с Думой, Столыпин понимал, что в условиях революционного насилия "нельзя так покорно копировать заемные западные устройства, но надо иметь смелость идти своим русским путем" (176—77). Тем-то и отличался Петр Столыпин от Александра II, да и от тезоименного императора, что стремился модернизировать Россию не на заемной западной основе, но на "русских национальных началах", будь то земщина или "многовековая связь

русского государства с христианской церковью” (207). В отличие от Петра I, например, Столыпин чувствовал необходимость, по его же выражению, ”преобразовать наш быт, не нанося ущерба жизненной основе нашего государства — душе народной” (223). Не будучи теоретиком, он претворял в жизнь основные идеи славянофилов, ибо подобно славянофилам, видел в православной массе русского крестьянства главный ”противовес беспочвенному социализму” (207). Как бы в упрек революционно-настроенным западникам, Столыпин говорил: ”Им нужны — великие потрясения, нам нужна — великая Россия!” (201).

Изображая Столыпина проводником русской национальной политики, Солженицын подчеркивает, что он не был шовинистом и не пренебрегал правами национальных меньшинств. Он только старался возвысить роль русского этнического элемента в Думе *в пропорции* к его числу в населении империи. Между тем, и в Первой и во Второй Думах меньшинства были представлены непропорционально сильно, к тому же слишком радикальными депутатами, избранными на взлете революции и поэтому не отражавшими интересов даже своих соплеменников. Только после роспуска Второй Думы чрезвычайным актом 3 июня 1907 года (”бонапартистский переворот” по БСЭ) Столыпину удалось достичь лучшего этнического равновесия в Третьей Думе, а заодно и обеспечить необходимую степень сотрудничества с исполнительной властью. Как позднее признавал В. Маклаков, именно этот ”переворот” положил начало ”короткому периоду совместной работы власти и общества в рамках конституции. Не произойди в 1914 европейской войны, Россия могла бы продолжать постепенно выздоравливать без потрясения” (205).

Хотя и настаивая, что Дума должна быть "русской по духу", Столыпин признавал за меньшинствами право на представительство, но не "в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских" (205). Помимо октябристов, в Третьей Думе Столыпин опирался на группу русских националистов, но это была группа умеренная, отнюдь не шовинистическая<sup>8</sup>. Что же касается шовинистов из Союза Русского Народа, то после первоначальной поддержки они поносили Столыпина "за недостаточную твердость против революции, няньчанье с Думами, преданность конституции, негласные облегчения евреям, за либеральные идеи... Но Столыпин не поддался и им, как и никакой партии никогда" (217).

Солженицын особо ставит в заслугу Столыпину подготовку закона, снимавшего правовые ограничения с евреев. Несмотря на усилия Столыпина, царь отказался в 1906 году подписать этот закон. Дума же использовала этот отказ как предлог "задержать равноправие крестьянское: не даете евреям — так мы не дадим крестьянам!" (194). Солженицын признает, что законом о равноправии Столыпин рассчитывал "большую часть евреев оторвать от революции". Но и позднее, когда угроза революции спала, "снятие ограничений с евреев было неременной частью столыпинских программ" (243).

## 2. Памятник Богрову

Несмотря на благосклонное отношение Столыпина к евреям (и в этом еще одна трагическая ирония), террористом, смертельно ранившим Столыпина 1 сентября 1911 года, оказался еврей. Это был

Мордко (Дмитрий) Богров, 24-летний сын богатого и влиятельного киевского адвоката, вхожего в Дворянский Клуб и жившего с семьей на широкую ногу, как русский "барин". Молодой Богров тоже получил юридическое образование, но сделал революцию своей профессией. Солженицын изображает его недорослем-белоручкой, пораженным разными комплексами:

Наружность никак не была революционной, напротив — в узких рейтузах, при свежем воротничке и чёрном галстуке, он выглядел типичным белоподкладочником... высоковат, всегда худ, бледен, или с нездоровым румянцем, неестественно моложав — к двадцати годам никакой растительности на лице. Всегда он казался истощён, переутомлён, недоумён и невесел... Телесной силы совсем не было в нём... (116).

И по стилю жизни было что-то в Богрове и от уставшего от жизни "лишнего человека" и от прожигающего жизнь барина-картежника:

Ему немало и рано выпало светской жизни, киевских клубов, театров, бегов, скачек, заграничных курортов. Он играл на тотализаторе, в карты, в рулетку, отдавался азарту, ценил его. Отец не слишком стеснял сына в денежных выдачах (116).

Юный Богров симпатизирует всем революционным партиям, но в последнее время отдает предпочтение анархо-коммунизму. Решив однажды, что "Никакой член партии ничего крупного совершить не может, а только свободная талантливая личность" (119), он так и остался одиночкой. В отличие от своих партийных товарищей, которые предпочитали убивать провинциальных начальников полиции или вытряхивать деньги из заложников-толстосумов, Богров выбирает тактику *центрального террора* против высших сановников. Чтобы

войти в доверие к полиции, он становится ее тайным агентом. Но хотя он и вынужден давать полиции малозначащую и противоречивую информацию о революционных группах, Богров не перестает быть революционером и до конца преследует свою главную цель: отомстить за унижение и погромы, которым его соплеменники подвергались в России.

Когда празднование пятидесятилетия раскрепощения крестьян приблизилось вдруг к Киеву, Богров встает перед выбором: кого убить — царя или премьера? И выбирает премьера. Почему? Да потому, что он знает, что не царь, а Столыпин является настоящим столпом ненавистного государства. "Кто сломал хребет революции, если не Столыпин? Режиму чрезвычайно повезло на талантливого человека. Он неизгладимо меняет Россию — но не в европейском направлении, это видимость, он оздоравливает средневековый самодержавный хребет..." (125). Так начинается внутренний диалог Богрова, и Солженицын, следуя в детективных глазах своему обычному полифоническому методу, предоставляет читателю самому интерпретировать богровскую "фугу", которая как бы предвосхищает авторский (и довольно гомофонический) лейтмотив очерка о Столыпине, но вводит и фальшивую ноту (насчет "средневекового самодержавия").

"Как будто Столыпин не предпринимал никаких мер против евреев?" звучит в Богрове один голос, а другой ему отвечает: "Но он создавал общую депрессивную обстановку. Именно со столыпинского времени /.../ евреев стало охватывать настроенное уныния и отчаяния, что в России невозможно добиться нормального человеческого существования". Первый голос опять напоминает, что "Сто-

льпин ничего не сделал прямо против евреев и даже провел некоторые помягчения". Второй голос, заметив колебания первого насчет "прямо", парирует: "но все это — не от сердца. Врага евреев надо рассмотреть глубже, чем на поверхности". А почему же Столыпин косвенно и "глубже" враг евреев? Да потому, объясняет второй голос, что "Он слишком назойливо, открыто, вызывающе выставляет *русские* национальные интересы, *русское* представительство в Думе, *русское* государство. Он строит не всеобщее-свободную страну, но — национальную монархию". Первый голос не находит возражений и дает второму сделать вывод, что "стольпинское развитие не обещает расцвета евреям" (126), и поэтому Столыпин должен быть устранин.

### 3. *Уж не антисемит ли Солженицын?*

В связи с портретом Богрова нашлись критики, которые обвинили Солженицына в антисемитизме. Например, Ричард Пайпс, гарвардский профессор и бывший советник президента Рейгана по СССР, считает, что "Солженицын проникает в сознание Богрова, чтобы доискаться там причин /его преступления/, и эти причины оказываются чисто еврейскими". Хотя и признавая, что "Солженицын не делает никаких антисемитских заявлений", Пайпс убежден, что роман производит антисемитский эффект, потому что "для русского читателя вполне ясно, что, характеризуя Богрова как еврея, он тем самым сваливает вину за революцию на евреев"<sup>10</sup>. Другой критик, эмигрант Лев Наврозов, вообще навесил на весь роман ярлык "Новый протокол сионских мудрецов"<sup>11</sup>.

Обвинения такого рода представляются мне не

только неверными и необоснованными. Они также оскорбительны для писателя, и неуместны в серьезном литературном анализе его произведений, и я не стал бы их даже касаться, если б они не имели пагубного влияния на политику Запада, особенно в радиовещании на СССР, и не отравляли атмосферы в эмигрантской среде. Пожалуй, лучше всех ответил на них Лев Лосев, заявив, что Солженицына можно обвинить в антисемитизме не с большим основанием, чем Достоевского можно обвинить в проповеди человекоубийства из-за того только, что его герой Раскольников рассуждает, довольно убедительно для некоторых читателей, что ростовщицу и можно и должно убить<sup>12</sup>.

Аналогия с Достоевским кажется мне особенно убедительной потому, что, применяя полифонический метод сходно с его употреблением у Достоевского в определении М. М. Бахтина, Солженицын позволяет читателям больше свободы в интерпретации героев, чем та, к которой читатель привык на чтении гомофонических (тонологических) романов<sup>13</sup>. Но за эту свободу читатель обязан платить "налог": он должен искать смысл романа не столько в высказываниях или сознании главных героев, не столько даже в авторском "голосе", сколько в системе сопоставления героев и оркестровке их "идеологических голосов". "Август" именно такой полифонический роман, вводящий в еще более многоголосую эпопею, и было бы ошибкой объяснять конфликт Богрова со Стольпиным вне контекста, уже доступного.

Вполне можно предположить, что найдутся такие читатели нового "Августа", которые будут валить революцию на евреев, но, чтобы сделать такой вывод, эти ханжи не нуждаются ни в литературе, ни в истории. И если они по-настоящему углубятся в

роман, то наверняка найдут, вопреки утверждениям Пайпса, что помимо "еврейских" причин у Богрова были и другие причины для убийства Столыпина, которые он вполне разделял с коренными русскими героями, такими, как рабочий жестянщик Жора, тетушки Агнесса и Адалия, да и сам Ленин. Все эти русские революционеры ненавидят национальную Россию и Столыпина ничем не меньше, чем еврей Богров. Русскому Жоре, такому же анархокоммунисту и террористу, как еврей Богров, даже в голову не приходит жертвовать своей жизнью, а Агнесса даже мечтает, что в "будущей свободной России /Богрову/ поднимутся памятники на русских площадях" (112). Солженицын несомненно далек от того, чтобы делить своих героев на положительных русских и отрицательных евреев.

Кстати, ни Пайпс, ни Наврозов не упоминают об одном явно положительном герое-еврее, предпринимателе и инженере Илье Исаковиче Архангородском, за портрет которого в "Августе" Солженицына хвалили многие критики, в том числе и еврей<sup>14</sup>. С другой стороны, именно из-за Архангородского, один самиздатский автор обвинил Солженицына в отсутствии у него портретов "международных банкиров и сионистов, стремившихся развалить Россию любой ценой"<sup>15</sup>. Ответ Солженицына на подобные юдофобские настроения, которые несомненно бытуют в СССР, хорошо известен. Еще в бытность свою в СССР, Солженицын недвусмысленно осудил их. Наблюдая однажды пасхальный крестный ход и заметив в толпе "одно-два мягких еврейских лица. Может крещеные, может сторонние", писатель не преминул прокомментировать: "Евреев мы все ругаем, еврей нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких

мы русских тем временем вырастили? Оглянешься — остолбенеешь”<sup>16</sup>.

Но, может быть, открыв для себя Столыпина и убедившись в чудовищности преступления Богрова, Солженицын стал антисемитом на Западе и соответственно ”зарезал” Архангородского в новой редакции? Ничего подобного. Илья Исакович остался на месте, все еще еврей, все еще во главе двадцатитысячной патриотической манифестации ростовских евреев в поддержку военных усилий. Как и раньше, он старается надоумить дочь Соню и ее приятеля-эсера Наума:

— Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение. Всякая революция прежде всего не обновляет страну, а разоряет ее, и надолго... (493).

И еще:

— Пути истории — сложней, чем вам хочется руки приложить. Страна, где ты живешь, попала в беду. Так что правильно: пропадай, черт с тобой? Или: я тоже хочу тебе помочь, я — твой? Живя в *этой* стране, надо для себя решить и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет? Если нет — можно ее разваливать, можно из нее уехать, не имеет разницы... (495).

Солженицын явно старается убедить читателя, что в России были не только еврей-революционеры, как Богров, но и евреи противники революции, как Архангородский, и последних, кажется, было даже больше, чем первых, — во всяком случае их было больше, чем принято считать. И вот их-то советская историография замалчивает еще усерднее, чем евреев-революционеров. Поэтому нельзя не поставить в заслугу Солженицыну, что в ”Августе” он уравнивал изображение евреев-революционеров

изображением евреев противников революции и тем самым приблизился к искаженной и утаенной реальности тех лет гораздо ближе, чем это позволено советским историкам.

Правда, из-за частых ссылок на революционеров и террористов с еврейскими фамилиями, у читателя нового "Августа" может создаться впечатление, что Солженицын намекает на исключительно важную роль евреев в революционном движении в России. Если это так, то это все-таки не открытие Солженицына. Многие западные ученые, в том числе и евреи, отмечали и комментировали необычайно высокий процент евреев среди революционеров не только в России, но и в других странах<sup>17</sup>. И только в СССР на этот предмет наложено табу. Более того, на Западе авторы идут в своих обобщениях гораздо дальше Солженицына. Например, раввин Хаим Бермант, отмечая исключительную роль евреев в революционных движениях до и после 1917 года, особенно во Франции и в США в 60-х годах, приходит к выводу, что "возможно есть что-то в самом характере еврейского народа, по крайней мере, в характере многих евреев, что предрасполагает их к участию в бунте ради бунта". Почему, в самом деле, дети богатых и никак не ущемленных в правах американских евреев часто становятся радикалами? Этому Бермант не находит исчерпывающего ответа, но делает догадку, что "может быть, евреи жили в состоянии хаоса /диаспоры да и раньше. — В. К./ так долго, что их обуревают беспокойство в состоянии стабильности"<sup>18</sup>. Не будем входить в детали этой малоизученной темы, но ясно, что одними марксистскими ссылками на экономическое и социально-политическое неравенство революции не объяснишь, что вероятно есть еще какие-то психологические и интеллек-

туальные причины, которые делают определенный тип людей, евреев и неевреев, революционерами. Подчеркнем еще раз, что Богров интересуется Солженицына не как еврей, а как еврей-революционер.

Хотя причины, побудившие Богрова на *самопожертвенное* преступление, вероятно никогда не будут определены с исторической достоверностью, Солженицын художественно проникает в его психологию глубже, чем те, кто обвиняет его в антисемитизме. Из потока сознания уже обреченного на казнь Богрова читатель узнает, что он был одержим не только политической мстью стране-мачехе, — "Выстрелить, повернуть всю тупую русскую тушу", — но и тщеславным желанием отпраздновать это отмщение: "а самому, обрызнутому духами, снова войти в золотистый зал Монте-Карло?" (319—20). Между тем, читатель уже знает, что Богров готовился к выстрелу и сделал его в обстоятельствах, в которых трезво мыслящему человеку нельзя было рассчитывать на побег и уж никак не в Монте-Карло. Разумеется, Богров хочет видеть себя самоотверженным политическим героем и говорит раввину, что он "боролся за благо и счастье еврейского народа" (320). Но не был ли он скорее всего просто психически-неуравновешенным фантазером? После его фантазии о Монте-Карло читаем: "Достоевский много душевных пропастей излазил, много фантазий выklubил, — а не все" (320). Намекает ли здесь Солженицын на сложность и неисповедимость характера своего героя, как у героев Достоевского? Или это сам Богров воображает себя таким сложным? Полифоническая инструментовка "голосов" в романе позволяет поставить эти вопросы, но не ответить на них определенно. Как и герои Достоевского, Богров до конца

остается нераскрытым героем и уносит свой "секрет" и от читателя и от автора.

Оценка солженицынского портрета Богрова не может быть полной без учета внероманных, исторических последствий покушения на Столыпина. В самом деле, добился ли Богров своих целей? Ответ на этот вопрос не может быть односложным. С одной стороны, убив премьера, он сокрушил хребет ненавистного ему государства и способствовал победе революции. Богровские пули были "первыми пулями из екатеринбургских" (250), говорит автор, как бы подтверждая успех замысла Богрова. С другой стороны, если верить Богрову, что убийство Столыпина и революция были для него лишь средством обеспечения "расцвета" еврейскому народу, результаты его покушения оказались скорее всего противоположными его намерениям. Хотя в самом романе на это нет и намек, читатель не может не задуматься: что же стало после революции с теми тысячами евреев, которые вместе с Архангородским выступали против нее? Или с теми религиозными евреями и сионистами, которые хоть и не поддерживали царя, но и не хотели менять Моисея на Маркса, ярого атеиста и юдофоба? Или с ассимилированными, либеральными и даже революционными евреями, которые после Октябрьской революции остались верны своим анархистским, эсеровским, кадетским и меньшевистским убеждениям? Всем этим категориям евреев революция во всяком случае не принесла расцвета. Расцвет был, да и то кратковременный, только для евреев-большевиков да для примкнувших к ним оппортунистов, и был он часто за счет других евреев<sup>19</sup>. При чтении романа в свете новейшей истории, увенчанной исходом евреев из государства, построенного с помощью евреев-револю-

ционеров, в государство, построенное сионистами, которых еврей-революционеры презирали, легче всего убеждаешься, что убийство Столыпина Богровым стало роковой трагедией не только для русских, но и для евреев и других меньшинств, — трагедией, из которой не найдено выхода и по сей день.

Создав портрет Богрова, Солженицын не только извлек из советского провала памяти важную главу российской истории, но и воздвиг памятник тому радикальному крылу еврейской интеллигенции России, которое видело в революционном насилии решение всех проблем. Конечно, этот памятник не так красив, каким он рисовался тетушке Агнесе, но нечего на зеркало пенять, коли рожа крива: ибо в нем, как в зеркале отражаются черты всей революционно-настроенной части российской интеллигенции. Ведь учился-то Богров в русской гимназии в Киеве, где, "как и все гимназисты того времени, он жадно вживался в либеральные и революционные учения" и "постоянное сочувствие к революции и ненависть к реакции густились в нем как и во всей русской учащейся молодежи" (114). Даже учась позднее в Мюнхенском университете, он все-таки оставался в атмосфере русского радикализма. После чтения не кого-нибудь, а именно Кропоткина и Бакунина (да и Реклю), он переходит к анархо-коммунизму:

Это учение — враг государства, собственности, церкви, общественной морали, традиций и обычаев: каждый член общества может и без того рассчитывать на такое количество благ, которые ему потребны, — ведь человек по природе не корыстен и не ленив, и никто не будет уклоняться от работы, ведь в людях глубже стремление к взаимопомощи, чем к обособлению (115).

Вот именно такие утопические учения, а не евреев или русских, и винит Солженицын в революции. Совершенно превратно истолковывая человеческую природу, такие учения — будь то анархокоммунизм, марксизм или якобинство — универсальны в распространении и особенно привлекают к себе секулярную и атеистическую интеллигенцию. В 1790-х они особенно пользовались успехом среди французов, сто лет спустя — среди русских и евреев, а в настоящее время — во всех странах, где они еще не "претворены в жизнь". С первого взгляда безобидные и даже благородные, такие учения создают в каждой стране атмосферу общественного мнения, которая потворствует насилию и терроризму. В интервью с Пиво Солженицын подчеркнул злободневность богровщины в наше время, "насколько революционный террор в России имел все характерные черты сегодняшнего террора". В этом отношении, сказал писатель, "Россия прошла современный путь мира раньше на несколько десятилетий, даже на полвека". Сравнивая Богрова с женщинами-террористками, которых он тоже описывает в новой редакции, Солженицын сказал, что последних направляла на убийство подпольная организация, "а Богров — его никто не направляет. Его направляет, страшное дело, общественное мнение"<sup>20</sup>, всегда готовое оправдать насилие со стороны крайне левых.

#### *4. Заключение: Столыпинская альтернатива в прошлом, настоящем и будущем*

Так зачем же все-таки понадобилось Солженицыну удлинять "Август" портретами Столыпина и Богрова? Какое отношение выстрел 1 сентября

1911 года имеет к событиям августа 1914 исторически и романно? Ярче всего связь эта обнаруживается в том, как Солженицын описывает внешнюю политику Столыпина. Оказывается, убежденность Столыпина в необходимости внутренних реформ диктовала ему и главную цель внешней политики: не дать втянуть Россию в войну. "России война совершенно не нужна, и во всяком случае нужно 10—20 лет внешнего и внутреннего покоя, а после реформ — не узнать будет нынешней России, и никакие враги нам уже не будут страшны", говорил Столыпин и предостерегал: "воевать нам — никак нельзя, мы еще долго будем не готовы, для нас сейчас война — поражение, но еще раньше — революция" (222).

Хотя премьерство не давало ему прямого контроля над внешней политикой, Столыпину удавалось косвенно влиять на нее постоянным утверждением перед царем и перед Думой приоритета внутренних задач. Конкретно Солженицын ставит в заслугу Столыпину то, что он убедил царя и "воинственное думское большинство" воздержаться от войны с Австрией, когда та аннексировала Боснию и Герцеговину в 1908 году. Солженицын подчеркивает при этом, что несмотря на его, казалось бы, славянофильские убеждения, Столыпин "не горел панславянской миссией никогда". Тем более не питал он никаких иллюзий насчет западных союзников, предрекая, что Англия и Франция "никакие не друзья и отвернутся от России, если ее постигнет несчастье". Поскольку "никому в Европе и даже в мире не кажется полезной сильная национальная Россия" (222), рассуждал Столыпин, она должна отказаться от союзных военных авантюр и полагаться только на свою силу, а сила эта зависела от социального и национального оздоровления путем либерально-демократических реформ. Солженицын наводит

читателя на мысль, что так как после убийства Столыпина и в правительстве и в Думе верх взяли провоенные круги, богровские пули послужили сигналом безудержного сползания России к войне. Таким образом, антивоенная тема, которая едва обозначилась в старом "Августе" в высказываниях Ободовского, Архангородского и Воротынцева, в новом "Августе" приобретает историческую глубину именно благодаря портрету Столыпина. Если раньше Воротынцев критиковал, в основном, неподготовленность Самсоновского наступления, то теперь он ставит под сомнение необходимость самой войны и при этом ссылается на Столыпина (514).

Воротынцев не единственный персонаж нового "Августа", который вспоминает о Столыпине<sup>21</sup>. Из потока сознания Николая II накануне рокового решения вступить в войну читатель узнает, что, несмотря на излишек придворных советников и министров, "никто не мог помочь ему советом, а голос Бога не слышен был явно", и потому "решать он всегда обречен сам, колеблющейся, измученной душой! Не было такого одного — твердого, умного, превосходящего человека, который взял бы на себя ответственность, и решение, сказал бы, нет — сразу бы сделал: так, а не иначе!" И вдруг царя, не сумевшего в свое время по-настоящему оценить своего премьера, осеняет: "Столыпин! — был такой человек. Вот кого не хватало ему сейчас, сию минуту здесь — Столыпина!" (449). Опять Солженицын наводит на мысль, что только Столыпин смог бы предотвратить войну, а если бы Россия и вступила в войну при нем, то имела бы реальный шанс ее выиграть. Исторически Столыпин был "кристаллизующим стержнем" (224) здоровых сил нации, а романо — без него как бы осиротели и рассыпались по фронтам и тылам Воротынцев и Ла-

женицын, Ободовский и Архангородский, Андозерская и Варсонофьев. В бурное море мировой войны Россия поплыла кораблем без капитана. Итак, главная тематическая функция "несовременных" глав нового "Августа" в том и состоит, чтобы показать, что устранение Столыпина с исторической арены сделало вступление России в войну и поражение в ней неизбежными. В романе о войне убиенный Петр Столыпин вырастает в образ героя-миротворца, светящегося ярче всего своим отсутствием. Тем более зловеще выступает в новом "Августе" фигура Ленина, радующегося войне как "подарку истории" и сразу же замышляющего раскрутить "красное колесо" (локомотива) революции<sup>22</sup>.

Критики уже отмечали сходство столыпинских планов с видением будущего России в солженицынском "Письме вождям"<sup>23</sup>. Подчеркивая эту связь, Лосев даже назвал свой анализ нового "Августа" "Великолепное будущее России" и объяснил это так: "Книга Солженицына, заглавие которой отсылает нас на семьдесят лет назад, на самом деле есть книга о будущем" (289). С таким утверждением можно согласиться в том смысле, что автор "Августа" страстно живет болью за настоящее и заботой о будущем России. Однако, при чтении статьи Лосева иногда создается впечатление, что он видит связь романа с будущим в том, что Солженицын чуть ли не подтасовывает историю под свое видение будущего. Лосев бездоказательно утверждает, например, что "как историк, /Солженицын/ избирателен и пристрастен, а следовательно ненадежен" (311). Нельзя согласиться и с выбором слов у Лосева, когда он утверждает, что "сверхзадачей" романа является "противопоставить неправильной русской истории правильную русскую утопию" (318).

Солженицын в самом деле "избирателен и при-

страстен”, а порою ”полемичен” и ”запальчив”, но это далеко не значит, что изображение хода русской истории и истоков Октября ”ненадежно”. Уж во всяком случае оно несравненно надежней, чем у всех советских историков по одиночке и вместе взятых. Его обращение с историческими источниками уже получило высокую оценку среди западных историков<sup>24</sup>. Что же касается выбора слов, то главной задачей ”Августа”, как и всего ”Красного колеса”, было и остается не исправление ”неправильной истории” на ”правильную утопию”, а восстановление подлинной русской истории, преднамеренно и преступно искаженной советской пропагандой. Утопию предлагает не Солженицын, а большевики, которые, как Лосев вдруг признается, противореча сам себе, ”окариковали” Стольпина и ”подрядились осуществить утопию, а осуществили кошмарную антиутопию — Архипелаг ГУЛаг” (319).

Вполне возможно, что как и любой грешный (или ”пристрастный”) историк или художник, Солженицын иногда ошибается в фактах, но он никогда не извращает их преднамеренно и не подтасовывает их под свою концепцию. Как и его персонаж профессор Андозерская, писатель убежден, что ”Материал истории — не взгляды, а источники” (464). Что же касается интерпретации источников и общей оценки деятельности Стольпина, то Солженицын не расходится далеко с наиболее серьезными западными историками, такими как Мэри Конрой, Джордж Токмакофф и Джеффри Хоскинг<sup>25</sup>.

К сожалению, большинство западных историков и советоведов игнорирует стольпинский эксперимент русской истории потому, что слишком склонно верить двум главным мифам об Октябрьской революции, преобладающим на Западе. Первый миф, советского производства, утверждает, что револю-

ция неизбежно вытекает из марксистского "объективного закона общественного развития" и что победила она потому, что не было и не могло быть какой-либо другой альтернативы "прогнившему царскому режиму". Второй миф утверждает, что такой альтернативой была либерально-демократическая революция, которая была аннулирована Октябрем, потому что русский народ не был достаточно "европеизирован", чтобы оценить ее достоинства. По мнению Солженицына, ни Октябрь, ни Февраль не вырастают органически из исторических и духовных традиций русского народа и поэтому не способны обеспечить ему лучшего будущего. Октябрьская альтернатива доказала себя полнейшей утопией, и если она сейчас "претворена в жизнь", то только благодаря насилию и лжи. А Февральская альтернатива оказалась на практике лишь преддверием к Октябрю главным образом потому, что ее либеральные руководители всегда потакали крайне-левым и отказывались от сотрудничества с исторически сложившейся властью и с патриотическими охранительными силами, в том числе со Столыпиным.

Этим двум мифам советования, двум утопическим альтернативам русской истории Солженицын противопоставляет историческую данность столыпинских реформ, отчасти выполненных и в остальном вполне выполнимых, как наиболее практическую и жизненную альтернативу того времени. Правда, и этой альтернативы не удалось осуществить, но не по недостатку в ней жизненной силы, а потому, что была она срезана на корню, сначала убийством Столыпина, потом войной и революцией. Убитую и забытую, Солженицын воскрешает ее не только как историческую данность эпохи, но и как образец для будущих преобразований. Хотя

в настоящее время в СССР отсутствуют необходимые политические предпосылки для принятия конкретных предложений и терминов стольпинской альтернативы (не провозгласить же "реформатору" Горбачеву сейчас "раскрепощение крестьян от колхозов с выходом на отруба и хутора"?), она способна вдохновить новые поколения на создание такой альтернативы, которая, восстановив органическую связь будущего государства с подлинной дореволюционной традицией, повела бы страну наконец все еще новым и необычным для нее "средним фарватером".

Эта новая альтернатива, по примеру стольпинской, должна быть эволюционной, реформистской, центристской, либерально-демократической и синкретической<sup>26</sup>, то есть национально-религиозной, или "славянофильской", в своей основе, но восприимчивой к западным идеям. Она должна быть также дружественной к национальным меньшинствам и внешнему миру. Воскрешая стольпинскую альтернативу как образец, Солженицын вселяет в читателя надежду, что на Советах свет клином не сошелся и что за советским периодом может последовать восстановление органической связи с дореволюционным прошлым. В этом смысле новый "Август" действительно широко открывает окно в будущее, ради чего Солженицыну и стоило рискнуть "грубым изломом романной формы".

Пусть новый "Август" стал от этого еще "огромней", даже "мешковатей" для привередливого эстета, но рыхлым назвать его уж никак нельзя. Неутомимый любознательный читатель несомненно найдет в нем большой смысловой заряд и лучшее введение к эпопее, чем в первом варианте. Джордж Орвелл некогда предупреждал, что тоталитарные диктаторы хотят обеспечить себе будущее

установлением монополии на изображение прошлого. Как никто другой до него, Солженицын подрывает в новом "Августе" монополию советских вождей и на прошлое, и на будущее.

## СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. Milton Ehre, "On August 1914", Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials, eds. John Dunlop et al. (Belmont, Mass.: Norland, 1973), p. 365.

2. См. специальное приложение к "Русской Мысли", 1 ноября 1984.

3. Все цифры в скобках в тексте относятся ко второму тому "Августа Четырнадцатого" в издании ИМКА-Пресс, Париж, 1983.

4. Большая Советская Энциклопедия, 3-е изд., 1976, том 24.

5. Юрий Кублановский правильно называет задачу Солженицына "воскрешением" истории, определяя ее как "не только 'истолковать', но и впервые написать нашу новейшую историю, тщательно скрываемую, глубоко погребенную большевизмом". ("У истоков стиля", Русская мысль, 20 октября 1983.) Хотя Лев Лосев и не соглашается с термином "воскрешение", так как "существует обширная литература и по-русски и на других языках" о Столыпине, но и он признает, что советской публике "известны лишь фальсифицированные сведения из советских учебников" ("Великолепное будущее России", Континент 42 (1984), с. 309). Увы, и на Западе, несмотря на наличие добросовестных исследований о Столыпине и его реформах, таких как Mary Schaeffer Conroy, Peter Arkad'evich Stolypin: Practical Politics in Late Tsarist Russia (Boulder, Colo.: Westview Press, 1976); Geoffrey A. Hosking, The Russian Constitutional Experiment, 1907—1914 (Cambridge, 1973); George Tokmakoff, P. A. Stolypin and the Third Duma (Washington, D. C., University Press of America, 1981); and George Yaney, The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1861—1930 (Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1982) большинство историков и советоведов смотрит на Столыпина как на курьез, обреченный на забвение. Это и не удивительно, так как в много-

томной американской энциклопедии русской и советской истории статья о Столыпинской реформе написана некой М. С. Симоновой, автором статьи в БСЭ (*The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History*, 1984, vol. 37). Поэтому можно все-таки сказать, что Солженицын именно воскрешает память о Столыпине и воздвигает ему литературный памятник, тем более что единственный памятник ему в Киеве был снесен еще при Временном правительстве.

6. Впрочем, Солженицын полемизирует не только с советской историографией, поскольку оболгание Столыпина началось еще до революции. "Как мрачный вешатель без единой разумной мысли остался впечатан в русскую историю ненавистный Думе, передовому обществу, и бомбовым социалистам этот неутомимый премьер-министр" (201) пишет Солженицын.

7. Аркадий Петрович Столыпин, сын премьера, не согласен с характеристикой царя как невнимательного читателя. Хваля Солженицына за "глубокое" изображение личности его отца, Столыпин-сын настаивает, что царь относился к премьеру лучше, чем это показано у Солженицына. См. "Столыпин и Николай II в 'Августе четырнадцатого' ", *Посев*, № 3, 1984, с. 58—60.

8. Умеренность русских националистов в 3-й Думе подтверждает и Мэри Конрой (см. примечание 5), которая называет их даже "умеренно прогрессивными" (с. 32).

9. Примерно такую же оценку деятельности Столыпина по еврейскому вопросу дает Конрой (см. сноску 5).

10. Richard Pipes interview, as reported by Joanne Omang, *Washington Post*, February 4, 1985.

11. Lev Navrozov, "August 1914 as a New Protocol of the Elders of Zion," *Midstream* (June/July 1985, pp. 46—53).

12. Лосев (см. примечание 5), с. 313.

13. Vladislav Krasnov, *Solzhenitsyn and Dostoevsky: A Study in the Polyphonic Novel* (Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1980).

14. See, for instance, Mark Perakh, "Solzhenitsyn and the Jews", *Midstream* 23 (6), 1977, pp. 3—17; and Roman Rutman, "Solzhenitsyn and the Jewish Question", *Soviet Jewish Affairs* 4 (2), 1974, pp. 3—16; and Edith Frankel, "Russians, Jews and Solzhenitsyn", *idem* 5 (2), 1976, pp. 48—68.

15. В обратном переводе с английского из: Ivan Samolvin, "A Letter to Solzhenitsyn", *The Political, Social and Religious Thought of Russian Samizdat: An Anthology*, eds. Michael

Meerson-Aksenov and Boris Shragin (Belmont, Mass.: Nordland, 1977), p. 422.

16. Александр Солженицын, Собрание сочинений, том 5-й, "Посев", 1969, с. 235.

17. See, e. g., Werner Sombart, *Jews and Modern Capitalism* (New York: Burt Franklin, 1913); Chaim Bermant, *The Jews* (New York: NYT Books, 1977); John Murray Cuddihy, *The Ordeal of Civility* (New York: Basic Books, 1974); Arthur Liebman, *Jews and the Left* (New York: Wiley, 1979); and Stanley Rothman and S. Robert Lichter, *Roots of Radicalism: Jews, Christians, and the New Left* (New York: Oxford Univ. Press, 1982).

18. См. сноску 17: Бермант, с. 178.

19. Александр Суконик, "О религиозном и атеистическом сознании", Вестник Р. Х. Д., Париж, № 123/4, 1977, с. 35—55.

20. См. сноску 2.

21. Вспоминают о нем — с ненавистью — также тетушки Агнесса и Адалия в новых главах 60—62, в которых они стараются убедить Веронику и Елю в героизме женщин-террористок.

22. Глава 22 хотя и не новая, но появляется в новом "Августе" впервые. См. том 1, с. 227.

23. См., например, Geoffrey Hosking, "The Plunge Into Chaos", *Times Literary Supplement*, February 3, 1984.

24. См., напр., Dorothy Atkinson, "August 1914: Historical Novel and Novel History", in *Dunlop's Solzhenitsyn: Critical Essays* (сноска 1), сс. 408—429.

25. См. сноску 5.

26. Американский ученый Дональд Тредголд считает, что именно славянофилы, а не западники, стремились к "синкретической" альтернативе, сочетающей русские традиции с восприимчивостью к западным идеям. См. его книгу Donald W. Treadgold, *The West in Russia and China: Religious and Secular Thought in Modern Times* (New York: Cambridge University Press, 1973), vol. 1, p. 202. Другой американский ученый, Джон Данлоп, ставит Солженицына в центр современного умеренного либерально-демократического русского национализма. См. его недавние книги: John B. Dunlop, *The Faces of Contemporary Russian Nationalism* (Princeton: University Press, 1983); and *The New Russian Nationalism* (The Washington Papers/116, Washington, D. C.: CSIS, Georgetown University, 1985).

## Страсти по Мастеру

То, что один из наиболее любимых и читаемых романов российской литературы по-прежнему привлекает внимание критиков неудивительно. Статья А. Чедровой "Христианские аспекты романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" ("Грани № 134, 1984) невольно привлекает внимание и необычностью поставленных проблем и некоторой категоричностью выводов.

Вот они вкратце. Мы узнаем из статьи о том, что образ Иисуса Христа (Иешуа) не только лишен в романе всего "что указывает на его божественное происхождение", но и то, что Иешуа изображен самым обыкновенным человеком, хотя и необыкновенно одаренным. Напротив, Сатана (Воланд) наделен писателем сверхъестественной силой, "справедливостью" и привлекательностью. При такой расстановке акцентов неудивительно то, что герои романа (романтический Мастер и его подруга) оказываются среди "прельщенных" князем тьмы и оттого не заслуживают "Света", хотя и награждены "покоем" за перенесенные страдания.

В самом начале статьи делается далеко идущий вывод об "эволюции Булгакова от традиционного

христианского мироощущения к особому дуализму”, который хотя и сохраняет прежнюю символику, но, соответственно нашему критику, явно находится в стороне от ”традиций христианской литературной культуры” (А. Чедрова ”Грани”, сс. 200—201).

Попутно в статье затрагивается ряд философских проблем — о двойной природе искусства, о роли художника в воссоздании ”идеального мира” и даже какого рода отношения возможны между ”истинным Христом и Сатаной”.

Но и оставив эти, лежащие за пределами возможностей короткой статьи проблемы, главный вывод автора о том, что Булгаков в своем произведении выступил с позиций ”чистого художника”, воспроизводящего мир ”как отвлеченную художественную игру”, как ”своего рода театр” вызывает чувство глубокого неудовлетворения и несогласия. Дело ведь не в том, что блистательное творение Булгакова не укладывается в довольно простенькую схему выбора между ”верностью и прельщением”. Всей своей статьей наш критик выражает сомнение в том, что Булгаков помогает своему читателю на пути к подлинной истине, добру. И с этим, думается, невозможно согласиться.

В своих попытках по-иному понять роман мы не будем рассматривать то, чего в произведении нет. Этот метод вряд ли может быть особенно плодотворен. Обратимся еще раз к булгаковскому тексту и посмотрим на то, что там есть.

Ни сам Булгаков, ни созданный им Мастер не писали романа об Иисусе Христе. При всей многоплановости романа главная сюжетная линия — это судьба ”четыре верных любовников”, Мастера и Маргариты. Главный же герой создания Мастера (”романа в романе”) не Иешуа, но прокуратор Иудеи

Понтий Пилат. Значит ли это, что Иешуа Га-Ноцри лишь второстепенный персонаж? Думается, что нет. "Тьма" и "Свет", Добро и Зло присутствуют на каждой странице книги. Кто же может полнее представить Свет и Добро, чем наш Спаситель? Но едва ли можно считать случайностью и то, что мы ни разу не встречаем Иешуа, увиденного глазами автора. Мы видим его глазами Воланда, Мастера, Иванушки Бездомного, наконец, но автор нигде не говорит от своего лица. О причинах применения этого литературного приема можно спорить, но сам факт его очевиден. Из возможных причин назовем лишь одну — есть образы, коснуться которых трудно даже такому мастеру слова как Булгаков.

Постараемся не забыть этой особенности романа и обратимся к образу "подследственного из Галилеи".

Впервые Иешуа приходит в роман в рассказе Воланда, но князь тьмы лишь бесстрастно передает впечатления терзаемого припадком головной боли Понтия Пилата. Лишь в конце, по образному выражению Иванушки, "сплетя целый рассказ", Воланд представляется ошарашенным слушателям как "очевидец и ушеслышец" всего происшедшего. Действительно, Пилат не понял и не воспринял Иешуа как Христа, Сына Божия. Но и как один из сотен подследственных, прошедших перед прокуратором за его долгую службу, изображен ли Иешуа "как прекрасный, предельно добрый человек", но и только человек?

Внешне это как будто бы так. И угаданный приступ болезни и любовь прокуратора к собаке и даже мысли того о самоубийстве (мы еще вернемся к этому "боги, боги мои... яду мне, яду...") — все эти догадки можно объяснить "земной, хотя и исключительной одаренностью" Иешуа.

Донос Иуды разрушает, однако, так легко сложившуюся в голове опытного бюрократа формулу спасения "бродячего философа" и ставит Пилата перед жестоким выбором. Выбор его известен, но тут-то и брошена фраза, быть может, ключевая во всем рассказе Воланда: "Погиб... " Потом — "Погибли!" И какая-то совсем нелепая среди них (мыслей. — А. К.), о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску" (М. Булгаков. Мастер и Маргарита. "Посев", с. 40).

Бессмертие, вызывающее нестерпимую тоску, — что эта воистину необыкновенная мысль может иметь общего с обычным человеком, с образом, из которого удалено "все божественное"?

Естественно то, что уставший от жизни циник, воин, дипломат и администратор пытается объяснить себе Иешуа то как бродячего философа и юридивого, то как великого врача. Но это плохо помогает ему. Иначе почему прокуратор кричит "таким страшным голосом" что царство истины никогда не настанет? Что ему, рубившемуся в Долине Дев, жившему в царстве интриг и заговоров при дворе принцепса, отдавшему все чувства верной собаке, истина "бродячего юридивого" и царство ее?

Короткая встреча с Иешуа изменила Понтия Пилата, ему уже никогда не стать прежним. Эгоистическое сожаление о том, что уходит навсегда единственный, способный исцелить его ужасные головные боли, оказывается нестойким.

Мысли о каком-то бессмертии ("Чье бессмертие?") приходят опять и от них не спасает ни страшный гнев прокуратора, ни возвращение к бюрократической рутине. Пилат уже готов поверить в то, что праздные зеваки бродили по пятам Иешуа,

слушая его. Возможно и в то, что сборщику податей деньги стали ненавистны после проповеди "бродячего философа". Но он-то — не неграмотный зевака и не полуграмотный сборщик податей, он — аристократ, облеченный властью, готов рискнуть карьерой и жизнью ради впервые им встреченного Иешуа. Правда, слишком поздно...

Кажется, что если подходить непредвзято, то уже в начале "романа в романе" Иешуа, увиденный Пилатом и Воландом (и так "верно угаданный Мастером") представляется кем угодно, но только не "обыкновенным" человеком, хотя бы и исключительно одаренным. Что-то непонятное, неземное вошло в роман и будет с нами до последней страницы.

Тот, кому дано во мгновение изменять столь разных людей как Левий Матвей и Понтий Пилат едва ли может почитаться бессильным, но есть Сила и Сила. Наш критик прав — "сверхъестественной силой" Булгаков наделяет Воланда (но не Иешуа!) (А. Чедрова, с. 203). Той силой, которая чужда и не нужна Иешуа, он действительно не обладает, зато ею в избытке наделен "дух зла и повелитель теней" Воланд.

Один из упреков статьи А. Чедровой заключается в том, что Булгаков изобразил зло и Воланда как его символ (не говоря уже о свите Воланда, очаровательном Бегемоте, например) в необыкновенно привлекательном виде. Более того, прямо указывается на ответственность писателя, если читатель "увлекся" злом, имеющимся в его книгах.

Что же, фигура "всесильного князя тьмы" действительно необыкновенно привлекательна. Дух зла, представший Маргарите в своем настоящем виде, полон мрачного величия: "Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и дума-

ла, что возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд” (Булгаков, с. 478).

Мог ли быть изображен по-иному Дух Сомнения, дерзнувший восстать против Творца? Речь ведь идет не об Алоизии или Степе Лиходееве. Тьма и тени — царство Воланда, повелитель которого он один. Тьма для Воланда такая же часть мира, как и Свет, что он и обосновывает в разговоре с посланцем Иешуа, Левием Матвеем.

Но в чем же заключается привлекательность Воланда, ведь эффектные аксессуары даны ему только в двух сценах романа? Ответ не может быть простым, как у нашего критика (“Все его (Воланда. — А. К.) ”зло” направлено на наказание такового в людях” А. Чедрова, с. 202). Думается, что вообще надо обладать особым видением, чтобы усмотреть в наказующем (хотя бы и справедливо) черты особой привлекательности.

”Всемогущий” Воланд в сущности совершенно один. Рьцарь, неудачно пошутивший о тьме и свете, вынужден стать одним из спутников ”князя тьмы”. Ясно, однако, что ни в каких услугах или свите Воланд не нуждается. Собранные из всех стран и эпох, гости ”бала ста королей” превращаются в прах и тлен, когда заканчивается отведенное им время. Свита развлекает своего повелителя, но насколько он нуждается в таких развлечениях?

Вообще действия ”князя тьмы” поражают несоответствием между почти неограниченными возможностями и их применением. Заслуживает ли торжество над такой ничтожной фигуркой, как Берлиоз, стольких ”хлопот”? Если бы Булгаков намеревался изобразить Воланда ”наказывающим зло

в людях”, то надо думать, нашлись бы более ”достойные” наказания в том обществе лжи и зла, в котором писатель принужден был жить. Ведь роман был написан не для печати и проблема самоцензуры, хотя и не может быть исключена, не была столь острой.

Эти кажущиеся противоречия легко снимаются, если предположить что Булгаков намеренно ограничился изображением Воланда как духа Зла и Разрушения, но и только. Воланд всемогущ в своей сфере, но хотя его ”возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие люди...”, они и ограничены этой сферой. Воланду не суждено созидать и не свойственно творить добро. Возможно потому Булгаков и заставляет его препоручить Маргарите объявить о прощении несчастной Фриде и Мастеру — ”отпустить” Пилата на его лунную дорогу в небо. По собственному выражению Воланда, какой для него ”смысл, в том чтобы сделать то, что полагается делать другому... ведомству” (Булгаков, с. 359).

Сама мысль, что Воланд изображен ”справедливым”, заключает в себе и то, что он может быть несправедлив. Между тем, оба понятия совершенно чужды этому образу. Воланд холоден и бесстрастен, как его глаз ”пустой и черный, вроде как узкое угольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней” (Булгаков, с. 322). Взглянув на великолепный роман Мастера он тут же предлагает тому: ”...начните изображать хотя бы что ли Алоизия”. Или бросает снисходительно о встретившихся наконец Иешуа и Пилате: ”И может быть, до чего-нибудь они договорятся”.

Он, восставший против Творца, бесконечно один и бесконечно стар. Для Воланда всякий, признающий какой-либо авторитет, — не более чем раб. Для

него Иешуа — бесконечно молод, а Левий Матвей и вовсе мальчишка на побегушках, не ученик Иешуа, а только раб, достойный лишь язвительной насмешки. Этим и можно объяснить его слова к Левии Матвею: "Ты глуп", а вовсе не тем, что ученик Иешуа изображен глупцом или, как считает наш критик, "уже скомпрометирован" в глазах читателя к этому моменту действия романа. Лишенному навсегда своей доли в царстве Света Воланду остается только насмешливо жаловаться на милосердие, на то, как "коварно оно пролезает в самые узенькие щелки". Слова Воланда, обращенные к Маргарите: "не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир", — звучат и вовсе двусмысленно. Ведь не он Творец этого мира, что же может быть "правильно" для него — его обреченность перед миром Света?

Трудно согласиться и с тем, что Воланд в какой-то мере "уже не Сатана". Если бы Булгаков изобразил бы "князя тьмы" не одним, а одиноким, то есть страдающим и сожалеющим, то можно было бы говорить о "смысловом смещении", о примирении "двух полярных сил мироздания" (А. Чедрова, сс. 204—205). Но нет, перед нами все тот же гордый и непокорный дух, "дух в себе", ни в ком и ни в чем не нуждающийся, ни о чем не сожалеющий.

Воланду не дано страдать, но его колоссальная фигура несет оттенок величественного трагизма. Может быть, причина этого в том, что при всем своем уме, могуществе, юморе — чертах несомненно привлекательных — Воланд навсегда отрезан от Царства Света и Тепла, доли в котором может достигнуть даже несовершенный человек через Веру и страдания?

Булгаков нигде прямо не говорит о том, что

власть Воланда ограничена. Между тем нетрудно заметить, что судьбы героев определяет не "всемогущий" Воланд, а кто-то другой. "Повелитель теней" властен извлечь Мастера из дома скорби, вернуть его обратно в "уютный подвальчик", словом сделать "так, чтобы все стало, как было". Но возможно, не случайно глава 29 названа "Судьба Мастера и Маргариты определена". Ведь Воланд устраивает их судьбу только после встречи с посланцем Иешуа. Ту же тональность встречаем мы и в сцене, когда Воланд вручает Мастеру судьбу его героя — Понтия Пилата: "Ваш роман прочитали... и сказали одно, что он, к сожалению, не окончен". И далее: "Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой!" (Булгаков, с. 480).

Можно, конечно, отсюда делать вывод о том, что Булгаков изображает Иешуа бессильным, а Воланда наделяет "сверхъестественной" силой. Но ведь можно понять и по-другому: прощенные Иешуа герои навсегда покидают мир "духа и зла и повелителя теней" и уходят в другой мир, мир, где сила Воланда бессильна и власть его невластна. "Прощайте, мне пора!" — говорит Воланд Мастеру и его подруге. Очевидно, их пути никогда более не пересекутся.

Так что не сродни ли "всемогущество" Воланда той власти, которой подлинный сатана искушал Спасителя: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу даю ее" (Лук. 4, 6). Именно этой злой и бесплодной властью Булгаков не наделил Иешуа, и, думается, вполне в рамках христианской литературной культуры.

Навсегда уходит от Воланда и Понтий Пилат, встретивший наконец Иешуа на столь им долгожданной лунной дороге в небо. Кажется, этого од-

ного достаточно, чтобы почувствовать всю оторванность от романа построений нашего критика о том, что творчество Мастера идет от Воланда, "о связи "человека-творца" с потусторонней силой" (А. Чедрова, с. 202, сл.). Мы повторим только то, что Воланд в романе отнюдь не творец, но Дух Сомнения и Разрушения. "Равно сочувствующий обеим сражающимся сторонам" ангел смерти Абадонна и демон безводной пустыни, демон-убийца Азazelло — его верные подданные и слуги. Мысль, что Воланд может "сотворить" нечто не исчезающее, как колдовская одежда его свиты, нечто, не превращающееся в прах и тлен, как гости его волшебного бала, противоречит если не "логике романа" (кто возьмется определить ее, эту логику), то всему духу и содержанию книги.

Почему Мастер творил, почему он и Маргарита любили друг друга? Очевидно, потому что они и не могут иначе. Способность же любить и творить даны людям, к сожалению не всем. Кем? Очевидно, Тем, перед кем должен будет склониться и Дух Зла. Ведь не Воландом же навеяна чистая, жертвенная любовь Мастера и Маргариты. И не Воланд вдохновил Мастера написать роман, герой которого прощен и удостоен Света. Рассуждать так было бы воистину "от лукавого".

Но может быть встреча с Воландом и его "дьявольской" командой так изменила Мастера и его подругу, что они действительно оказались среди "прельщенных"?

Обратимся опять к роману. Эксцентричная и непосредственная, Маргарита ослеплена величиим и могуществом Воланда. "Всесилен, всесилен!" — восклицает она при виде воссозданной из пепла рукописи Мастера. Изменилась она и внешне: "На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от

природы кудрявая, черноволосая женщина лет двадцати...” (Булгаков, с. 292). Измученной и усталой женщиной овладевают приступы буйного веселья. Вспомним все ее ”проделки” во время волшебного полета на бал ста королей. Не все шалости Маргариты безобидны. Она громит квартиру критика Латунского и ”разъяренной кошкой”, с криком: ”Знай ведьму, знай!” вцепляется в лицо почтенного Алоизия Могарыча. Не говоря уже о жестоко надранном ухе симпатичнейшего Бегемота. Поступки, что и говорить, совсем не ангельские.

В прочальной записке Маргарита сама называет себя ”ведьмой”. И правда, черты ее приобретают нечто демоническое: ”А ты, действительно, стала похожей на ведьму” говорит ей несколько удивленный Мастер (Булгаков, с. 458). Ответ Маргариты — ”я ведьма и очень этим довольна”, — казалось бы, не оставляет сомнений в новой, демонической природе ее. Маргарите безразлично, какая сила поможет им, ”потусторонняя или не потусторонняя”.

Мастер же просто не в силах объяснить себе все с ними происшедшее и колеблется между мыслями о галлюцинациях или о его душевной болезни, захватившей теперь и Маргариту. Лишь убежденный своей подругой положиться на будущее, но так и не придя ни к чему в попытках понять окружающую их мистерию, Мастер и произносит фразу, на которую так серьезно ссылается наш критик: ”...когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну что же, согласен искать там” (Булгаков, с. 458). Критик не добавил только, что Мастер произнес эту фразу смеясь.

Смеясь и, очевидно, совершенно не веря в реальность всего происходящего. Ранее так же иронически Мастер сказал: ”теперь, стало быть, налицо

вместо одного сумасшедшего — двое, и муж и жена!” Значит ли это, что писатель считает своих героев сумасшедшими?

Вряд ли стоит возводить весьма сложные построения о ”соблазне”, ”прельщении” и пр. на одной-единственной фразе романа, к тому же взятой без контекста. Это ведь не трактат по демонологии...

Но последуем дальше за превращениями наших героев. Отравленная Азазелло и возрожденная к новой жизни Маргарита теряет все ”демоническое”: ..видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом” (Булгаков, с. 465).

Встреча с Воландом, все ”чудеса и волшебства” не проходят бесследно. На короткое время Маргарита обретает черты ”ведьмы”. Но ”демоническое” оказалось нестойким, исчезло, как и все ”обманы”, как ”утонула в туманах колдовская, нестойкая одежда” Воланда и его свиты.

Возможен и такой вопрос — почему Булгаков не поместил сцену ”превращения” Маргариты в описание ночного полета к ”последнему приюту”, когда ”ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы”. Кто знает? Возможный ответ подсказан самим писателем: ”Себя Маргарита видеть не могла...” (Булгаков. с. 476 сл.).

Кажется, это и не столь важно. В словах Маргариты к Мастеру на пути к их ”вечному дому” звучат бесконечная любовь и нежность: ”Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я”.

Трудно связать эти слова с ”заложившей душу дьяволу” (по словам нашего критика). Но в одном

критик прав: "Маргарита ничуть не потеряла ни в наших глазах, ни в своей нравственности" (А. Чедрова, с. 210).

Мастер, вынужденный наконец признать то, что ни Азazelло, посетивший их "подвальчик", ни Воланд со свитой не являются обманом "гипнотизеров" или плодом его воображения, тоже несколько изменился.

После прощания с городом, успокоившись — его волнение и чувство глубокой обиды сменились горделивым равнодушием, а последнее — "предчувствием постоянного покоя" — поглядел в лицо Воланду "прямо и смело" (Булгаков, с. 474). Летя рядом с князем тьмы, Мастер ни разу не обращается к тому. Углубленный в свои мысли, Мастер "летел, не сводя глаз с луны... Улыбался ей... и что-то, по приобретенной в комнате № 118 привычке — сам себе бормотал" (Булгаков, с. 478). Надо обладать изрядной долей воображения, чтобы во всем этом усмотреть "прельщенного" художника, следящего за своим "прельстителем"...

Но все же, почему Мастер "не заслужил Света", а только покой? Объяснение, притом по словам статьи "общепринятое", что причина в том, что Мастер "сам отказался от дальнейшей борьбы, от творчества..." кажется нашему критику недостаточным (А. Чедрова, с. 206 сл.). А кстати, такой ли уж это грех — быть смертельно усталым, измученным и больным? Но, повторяем, этого недостаточно. "Удовлетворительный по полноте (?! — А. К.) ответ можно дать только в свете допущения, что Воланд — "отец лжи", а Мастер — "прельщенный" художник, который на руку Сатане искажает образ Христа" (А. Чедрова, с. 206). Вот как! После всего нами сказанного едва ли нужны какие-либо комментарии этого "допущения".

Но почему же Мастер и Маргарита оказались "ниже" великого грешника Пилата? Статья утверждает, что это явно противоречит "логике романа": "Если прощен Пилат, то неужели измученному Мастеру нельзя простить его "усталости"?" (А. Чедрова, с. 208).

Примирая эти "противоречия" с некоей "логикой романа" (романа ли?) утверждается что произведение Булгакова как бы вырвалось из-под контроля автора, "отделилось от своего создателя и обрело некую самостоятельность существования" (А. Чедрова, с. 208). Оказывается, "замечательный художественный талант Булгакова заставляет его в узловых пунктах следовать истине иногда вопреки логике промежуточных построений" (А. Чедрова, с. 208).

Так ли это? Существовал ли роман независимо от своего творца? Ведь действительно, это "феномен не новый в искусстве". Можно, однако, понять и по-другому.

Великий грешник Пилат прощен и удостоен "Света" потому, что все долгие "двенадцать тысяч лун" он страдал, искупая свой грех и хотел только одного — встретить наконец Иешуа. Сполна выстраданное желание его было исполнено.

О Мастере же нельзя сказать, что он "свой счет оплатил и закрыл". Мастер страдал и мучился, но его страдания не были раскаянием и искуплением совершенного греха. Он не был ни грешен, ни праведен, просто глубоко несчастен.

И в этом смысле наш критик прав. Лишенный надежды и не тянущийся к Свету, Мастер истинным христианином, наверное, не был. Но дело совсем не в том, что он "возлюбил Сатану" или был им "прельщен" в своем творчестве. Герой Булгакова не обладал Верой в возможность и для него достичь

Света. Поэтому он и награжден пределом своих желаний — покоем. "Каждому воздастся по вере его".

Но Мастера не ожидает и небытие, как Берлиоза и прочих активных помощников реального зла. Мастер не отрицал Свет и никогда не служил злу, как несчастный Иван Бездомный. Единственный его грех — недостаток Веры. Герой понимал и сам, что он бесконечно ограблен. Так и можно понять его слова к Маргарите: "Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой..." Ведь не деньги же имеются в виду.

И он, и Маргарита, и несчастный мальчик Иван Бездомный — все они, обреченные жить в жутком мире реального зла, все они совершенно ограблены, хотя и по-разному. И потому, наверное, заслуживают снисхождения, на что и указывает наш критик, правда мимоходом и в конце статьи. Поистине страшный мир, где, по словам критика, "страшное и пошлое сочетались в дурной бесконечности" (и до сих пор сочетаются. — А. К.), все это реально "окружало Булгакова-Мастера" (А. Чедрова, с. 211).

Против этого нечего возразить, разве что не следует так прямо отождествлять писателя и его героя. Не в том, конечно, смысле, что Булгакова не окружал тот "кошмар натуральной дьявольщины", в который писатель поместил Мастера. Но насколько писатель жил жизнью своих героев, кто может это сказать?

В романе есть несколько фраз, связанных, как нам кажется, непосредственно с автором, а не с его героями. Отрывки эти воспринимаются как крик боли и страдания. Один из них связан с описанием хорошо нам известного ресторана "Грибоедов" и может быть понят как своеобразное авторское отступление: "Но нет, нет! Лгут оболъстите-

ли-мистики, никаких Караибских морей нет на свете... Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке... и страшно, страшно!.. О боги, боги мои, яду мне, яду!" (Булгаков, с. 79).

Последняя фраза почти дословно вложена в уста Понтия Пилата. Надо ли говорить, что на этом основании было бы странно искать духовной общности писателя с этим героем "романа в романе"?

Другим отрывком, потрясающим по своей силе даже в этой книге чеканной прозы, начинается глава "Прощение и вечный приют":

"Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами!.." И снова писатель говорит о смерти: "уставший... отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его".

Это не слова "чистого художника", воспроизводящего мир как отвлеченную художественную игру, как своего рода театр", а глубокое и подлинное страдание. Да и мог ли бы не страдавший написать "Мастера и Маргариту"?

Совершенно справедливо то, что Булгаков решает проблематику этого романа иначе, чем в "Белой гвардии". Но нужно ли говорить о какой-то эволюции, о "духовной динамике писателя от традиционного христианского мироощущения к особому дуализму..." Едва ли.

Писатель, вероятно, оставался верен традициям христианской литературной культуры. Менялись его герои. И не только они одни, но и мир, в котором принужден был жить писатель. От прекрасной, глубоко верующей русской семьи в "Белой гвардии" до людей, "совершенно ограбленных", предел желаний которых ограничен покоем. Но ка-

жется, в том нет вины писателя. Это вина безвременья, длящегося и ныне.

Но помогает ли творение Булгакова найти путь к "подлинной истине", Добру? Однозначного ответа быть не может; как мы видим, каждый берет из романа только то, что в силах взять.



Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ

## Брестский мир

### ПРОЛОГ

13 ноября 1918 года, расторгнув в одностороннем порядке Брест-Литовский мирный договор с Германией, советское правительство отдало Красной армии приказ перейти демаркационные линии и вступить в занятые немцами районы бывшей Российской Империи. Так началось одно из решающих наступлений Красной армии, целью которого было установление коммунистического режима в Европе. Оно проходило более чем успешно. Уже 25 ноября немцы вынуждены были оставить Псков, а 28-го — Нарву. 29 ноября было образовано советское правительство в Эстонии (незанятым Красной армией оставался только Ревель), а 14 декабря — в Латвии. (Ядро тех красных войск составляли стрелки латышской дивизии.) В Латвии же через три дня был опубликован большевистский манифест, указавший главнейшую цель коммунистического наступления — Г е р м а н и ю.

В те дни на повестке дня любого заседания или съезда по существу стоял лишь один вопрос — о мировой коммунистической революции. Казалось,

все исчисляется днями. В феврале через Вильно Красная армия вышла к границам Пруссии. "Круг замкнулся", — произнес в начале февраля Радек, — только Германия, самое важное звено, все еще отсутствует..." Но германская революция прорывалась со всей неизбежностью. В январе-феврале 1919 г. в ряде городов Северной и Центральной Германии были провозглашены республики. Наиболее серьезным положение было в Баварии, где при активном участии большевика Евгения Левина в феврале была провозглашена советская власть и началось формирование Баварской Красной гвардии. Коммунистический мятеж вспыхнул и в Руре, где была образована рабоче-солдатская республика.

Окончательная победа коммунистической революции в Германии ожидалась большевиками самое позднее к середине марта 1919 г.\* Но время уже было упущено. Социал-демократическое правительство Германии, наученное горьким опытом российских социал-демократов, начало принимать жестокие контрмеры. 12 февраля в Берлине был арестован организатор коммунистической революции в Германии большевик Карл Радек. Правительственные войска, состоявшие из добровольцев и реорганизованных частей кайзеровской армии, вступили в Рур. Для защиты фланга Восточной Пруссии и оказания помощи антибольшевистскому добровольческому корпусу, сформированному в Прибалтике, генерал фон Гольц выступил с дивизией в направлении на Либаву. В мае правительственные войска Германии заняли Мюнхен. Баварская республика пала. Коммунистическая революция в Германии была подавлена.

Но за тот же период она укрепилась в России.

---

\* См фон. Раух. История советской России. — Нью-Йорк, 1976, с. 102.

*"Всю же надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, — мы будем раздавлены, — это несомненно. Либо русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты всех стран задушат нашу".*

*Троцкий*

*Из речи на Втором съезде Советов, 26 октября*

*"Все строение, возводимое ныне германскими империалистами в несчастном договоре, — есть не что иное, как легкий дощатый забор, который в самом непродолжительном времени будет беспощадно сметен историей".*

*Зиновьев*

*Из речи на заседании Петроградского Совета  
21 февраля 1918 г.*

Взаимоотношения между большевистской партией и кайзеровским правительством в годы Первой мировой войны долгое время оставались для историков загадкой. Сенсацией разнеслись по миру первые сведения о том, что германское правительство, заинтересованное в скорейшем ослаблении Российской империи и выходе последней из войны, нашло выгодным для себя финансирование социалистических партий (в том числе и партии Ленина), стоявших за поражение России в войне и ведших усиленную антивоенную пропаганду. Сегодня догадки и предположения о субсидировании Германией российских социалистических партий подкреплены и рядом документальных свидетельств<sup>1</sup>.

В 1917 г. Германия и Австро-Венгрия были крайне заинтересованы в заключении сепаратного мира с Россией. Как отмечал начальник штаба Восточного Фронта германских войск генерал М. Гофман, его фронт не обладал необходимыми силами для наступления<sup>2</sup>. Выход из затруднительного положения мог дать лишь мир с Россией.

Большевистский переворот немцам пришелся как нельзя кстати. Сразу же после прихода к власти советское правительство сделало немцам две услуги. Во-первых, оно опубликовало декрет о мире, насквозь демагогический, но являвшийся удачным тактическим ходом, и приступило к практическим шагам по улучшению русско-германских отношений. 9 ноября Ленин обратился по радио к русской армии с предложением прекратить военные действия и выбирать "тотчас уполномоченных для формирования вступления в переговоры о перемирии с неприятелем"<sup>3</sup>. Во-вторых, уже 9 ноября Троцкий сделал официальное заявление о намерениях советского правительства опубликовать секретные дипломатические документы. Это требование, казалось бы вписывающееся самым невинным образом в программу большевиков, исходило от немцев, еще с времен дооктябрьских<sup>4</sup>.

На первый взгляд, публикация тайных договоров наносила ущерб, как Центральным державам, так и Антанте. Но поскольку основные секретные договоры были заключены Россией именно с Францией и Англией, а не с Германией, последняя, конечно же, оставалась в выигрыше. Это понимало и большевистское правительство. Троцкий писал:

"Буржуазные политики и газетчики Германии и Австро-Венгрии могут попытаться использовать публикуемые документы, чтобы представить в выигрышном свете дипломатическую работу Цент-

ральных империй. Но..., во-первых, мы намерены вскоре представить на суд общественного мнения секретные документы, достаточно ясно трактующие дипломатию Центральных империй. Во-вторых, ...когда германский пролетариат откроет себе революционным путем доступ к тайнам своих правительственных канцелярий, он извлечет оттуда документы, ни в чем не уступающие тем, к опубликованию которых мы приступаем. Остается только пожелать, чтобы это произошло как можно скорее"<sup>5</sup>.

Впрочем, днем раньше Троцкий признался, что "это не договоры, написанные на пергаменте, дело идет по существу о дипломатической переписке, о шифрованных телеграммах, которыми обменивались правительства"<sup>6</sup>. Так или иначе, но к изданию было подготовлено семь выпусков "Сборника документов из архива бывшего Министерства Иностранных дел"<sup>7</sup>. Практическую работу по их изданию осуществляла группа сотрудников НКВД под руководством Н. Г. Маркина<sup>8</sup> и под общим надзором Троцкого. Седьмой выпуск, опубликованный в феврале 1918 года, перед самым заключением Брестского мира, стал последним. Редакция указала, что "выпуск следующих номеров Сборника Секретных Документов по техническим затруднениям Редакция поставлена в необходимость временно прекратить"<sup>9</sup>. Восьмой выпуск так никогда и не был издан, вероятно, в связи с заключением Брестского мира, так как последний, седьмой выпуск, заканчивался набранным крупными буквами, на всю страницу, лозунгом: "Да здравствует Международная Конференция действительных представителей революционного пролетариата во главе с Карлом Либкнехтом, Джоном Маклинном, Фридрихом Адлером, Лениным, Троцким и другими стойкими вождями рабочего класса..."<sup>10</sup>.

Нельзя сказать, что публикации этих материалов вызвали взрыв негодования в Европе или вообще имели какое-либо существенное значение, кроме чисто символического, хотя на общественное мнение США, не информированное о существовании ряда документов, публикация произвела впечатление. Крайне невыгодный для Антанты пропагандистский эффект имели и продолжавшиеся весь ноябрь советско-германские переговоры о заключении перемирия. 14 ноября германское Верховное командование дало свое согласие на ведение официальных переговоров с представителями советского правительства. На предложение большевиков начать переговоры ответила положительно и Австро-Венгрия. Граф О. Чернин, вслед германским генералам, к вопросу подходил просто: "...Будь мы в состоянии привести нужную страну (Россию. — Ю. Ф.) не только к заключению мира, но и к введению законного порядка, было бы правильно не вступать с этими людьми в переговоры, а просто идти на Петербург и восстанавливать там порядок, но такой силы у нас нет, потому что для нашего спасения необходимо возможно скорее достигнуть мира"<sup>11</sup>.

Начало переговоров было назначено на 19 ноября. Военные действия на Восточном фронте приостановились.

В этих условиях надежды Германии на победу в мировой войне во многом зависели от прочности большевистского строя, так как никакое другое правительство России не согласилось бы на соблюдение столь выгодного для Германии и столь тяжелого для России мира. Трудно поэтому согласиться с заявлением одного из советских историков, что Германия ставила своей целью "удушение большевизма"<sup>12</sup>. Уж по крайней мере не в 1917

году. Это достаточно хорошо понимали и многие большевистские вожди. Оболенский (Осинский) заявил впоследствии, что "еще летом, когда провалилось наступление Керенского, когда немцы перешли в наступление на Рижском фронте, они, несомненно, имели абсолютную возможность раздавить русскую революцию точно так же, как русскую армию. Почему они не сделали этого тогда? Разумеется не потому, что у них были связаны руки на других фронтах, а потому, что они рассчитывали достичь своих целей еще более легким способом: они дожидались внутреннего разложения, которое, по их мнению, должна была принести русская революция, ожидали победы партии мира, которой они считали большевиков, они рассчитывали прийти более простым способом к желанному концу"<sup>13</sup>.

Заинтересованная в заключении прочного сепаратного мира с советской Россией, Германия становилась гарантом ленинского правительства. Когда 17 декабря 1917 года корреспондент петроградской газеты "День" спросил в интервью у главы прибывшей в Петроград германской миссии графа Германа Кейсерлинга, собираются ли немцы оккупировать Петроград, граф ответил, что у немцев нет таких намерений в настоящее время, но что подобный акт может стать необходимостью в случае возникновения в Петрограде антисоветских выступлений<sup>14</sup>. Германия не хотела теперь иметь дело ни с кем, кроме большевиков, отказываясь даже от переговоров с другими социалистическими партиями, в частности с эсерами, попытавшимися было найти с немцами общий язык. Об этом 9 января 1918 года в письме в Брест-Литовск сообщил Кюльману заместитель статс-секретаря МИДа Германии. В письме указывалось, что к герман-

скому послу в Стокгольме обратился представитель партии эсеров, передавший послу послание Чернова. Последний предрекал скорое падение большевистского правительства, переход власти к Учредительному Собранию и предлагал Германии отказаться от ставки на правительство Ленина-Троцкого, заключив честный и продолжительный мир с демократическим правительством России. Но сознавая, что никто не будет более слаб и уступчив, чем большевики, предпочитая поэтому иметь дело именно с ними и видя в остальных политических группировках угрозу германским интересам, правительство Германии эсерам отказало. Заместитель статс-секретаря Кюльмана закончил свое письмо следующими словами: "Если Ваше Превосходительство одобрит, я намереваюсь сообщить (представителю ПСР. — Ю. Ф.), что в данное время мы, к сожалению, не в состоянии связаться с другими русскими партиями, так как мы ангажированы для переговоров с большевиками. Пожалуйста, телеграфируйте Вашу точку зрения". Кюльман ответил: "Я согласен"<sup>15</sup>.

Если Германия сделала свою ставку на советскую власть, то советская власть сделала ставку на Германию, точнее — на германскую революцию. Ленин уже 4 (17) ноября на заседании ВЦИК доказывал собравшимся, что революция на Западе разразится скоро:

"Только слепой не может видеть того брожения, которым охвачены массы в Германии и на Западе. ...Пролетарские низы... готовы отозваться на наш зов... Группа "Спартак" все интенсивнее развивает свою революционную пропаганду. Имя Либкнехта... с каждым днем все становится популярней в Германии. Мы верим в революцию на Западе, мы знаем, что она неизбежна, но, конечно, нельзя по

заказу ее создать. Разве мы в декабре прошлого года могли с точностью знать о грядущих февральских днях. Разве мы в сентябре знали достоверно о том, что через месяц революционная демократия в России совершит величайший в мире переворот ...Пророчествовать о дне и часе этой грозы мы не могли. Ту же картину, что и у нас, мы видим сейчас в Германии..."<sup>16</sup>

С верой на Запад смотрел Троцкий. 8 (21) ноября он заявил на заседании ВЦИК, что "самые оптимистические предположения оправдались. Немецкий рабочий класс отдает себе отчет в том, что происходит сейчас в России, быть может, даже лучше, чем эти события понимаются в самой России. Действия рабочего класса в России более революционны, чем его сознание; но сознание европейского рабочего класса воспитывалось в течение десятилетий..., он понимает, что у нас начинается новая эпоха всемирной истории"<sup>17</sup>. Для этой "новой эпохи" реальный мир мог стать настоящим ядом. Ленин понимал это уже тогда. И 10 ноября на заседании ВЦИК сделал одну очень важную оговорку: "Наша партия не заявляла никогда, что она может дать немедленный мир. Она говорила, что даст немедленное предложение о мире и опубликует тайные договоры. И это сделано... Мы... не заключаем перемирия... Мы не верим ни на каплю германскому генералитету"<sup>18</sup>.

Чтобы не связывать себе руки консультациями со ВЦИКом, большевики на заседании ВЦИК 10 ноября добились для себя права заключать перемирие или мир решением СНК, а не постановлением ЦИК<sup>19</sup>. Но не только для заключения мира важно было Совнаркому оговорить для себя это право. Речь уже в то время шла и о возможной революционной войне на Западе. Привычно ста-

ло считать, что за нее выступал прежде всего Троцкий:

”Наша игра еще не сыграна. ...Не для того мы свергли царя и буржуазию, чтобы стать на колена перед германским кайзером, чтобы склониться перед чужестранным милитаризмом и молить о мире. Если нам предложат условия, неприемлемые для нас... противоречащие основам нашей революции, то мы... партия большевиков, и, надеюсь, левые эсеры, призовем всех к священной войне против милитаристов всех стран”<sup>20</sup>.

Троцкий на левых эсеров надеялся не зря. Еще в начале 1918 года один из видных левозсеровских лидеров Камков писал в ”Нашем пути”: ”Вне мирового революционного движения, направленного на полное сокрушение капитализма, попытка культивировать социалистический питомник в России есть при самом благосклонном отношении — нелепость”<sup>21</sup>. А на заседании ВЦИК сказал следующее: ”Наша сила не штыковая, мы опираемся на силу... наших лозунгов... Мы настойчивы потому, что сила русской революции... — это слабость германского империализма. Я вполне разделяю уверенность в том, что германским империалистам не удастся с той легкостью, как раньше, повести немецкие войска против русской революционной армии... Гинденбург разобьется не о русские штыки, а о собственную демократию... Такая попытка германского генералитета переполнит чашу терпения германской демократии, взорвет тот пороховой погреб, на котором сидят германские империалисты... Наша сила в тех идеях, которые проводит русская революция... Вот почему мы всецело поддерживаем действия нашей мирной делегации, не пошедшей ни на какие компромиссные сделки с германскими империалистами”<sup>22</sup>.

За мировую революцию выступал и левый эсер Карелин: "Достигнув перемирия и возгласив — "да здравствует мир" — мы должны возглавить социалистическую революцию и восстановить братство трудящихся всего мира"<sup>23</sup>. И уж, конечно же, экстремистка Коллонтай: "На то мы и интернационалисты, чтобы работать не на одну Россию, а на всемирный пролетариат. И мы верим, что революционный факел, поднятый над Россией, зажжет пламя революции всего мира"<sup>24</sup>. И "умеренный" Каменев: "Мы... переговоры мирные будем вести не с представителями немецкого империализма, а с теми социалистами, усилиями которых будет низвергнуто германское правительство. Спор между нами и германскими империалистами должна решить революция"<sup>25</sup>.

А Зиновьев довел все эти заявления до их логического конца: "Если Россия заключит мир, то этот мир будет только перемирием. Социалистическая революция в России победит тогда, когда она будет окружена кольцом социалистических республик-сестер. Мир, заключенный с империалистической Германией будет явлением эпизодическим. Он даст наибольшую передышку, после которой вновь закипит война"<sup>26</sup>.

С этим вступили большевики и левые эсеры на путь переговоров с Германией, причем Троцкий не смог удержаться от циничной реплики: "Мы говорим с /германской/ делегацией, как стачечники с капиталистами... И у нас, как у стачечников, это будет не последний договор. Мы верим, что окончательно будем договариваться с Карлом Либкнехтом, и тогда мы вместе с народами мира перекроим карту Европы..."<sup>27</sup>.

Наконец, точку зрения большевиков и левых эсеров разделяли в этом вопросе меньшевики.

Д. Далин, в частности, пишет: "...Идея большой социалистической революции на западе одушевляла меньшевизм во всех его течениях, хоть и с разными оттенками. Дело было не только в том, что меньшевизм... сохранял верность ортодоксальному ("революционному") марксизму и... что большая часть партии придерживалась циммервальдских взглядов, что мировая война является прологом социальной революции... И для большевиков, и для меньшевиков первым отчетливым отрезком большой европейской революции была ожидаемая революция в Германии. В Германии, казалось, имеется самая большая ортодоксально-марксистская партия; она была самой промышленной страной континента..."<sup>28</sup>.

Вот с такими настроениями и при отсутствии расхождений во взглядах на скорую европейскую, по крайней мере германскую, революцию, советская делегация прибыла к намеченному сроку в Брест-Литовск, где помещалась ставка главнокомандующего германским Восточным фронтом. С советской стороны делегацию возглавили три большевика (А. А. Иоффе, Л. Б. Каменев и Г. Я. Сокольников) и два левых эсера (С. Д. Масловский-Мстиславский и А. А. Биценко). По поручению главнокомандующего Восточным фронтом Леопольда Баварского с германской стороны переговоры должна была вести группа военных во главе с генералом Гофманом. Заседания открылись 20 ноября.

Советская делегация смотрела в будущее весьма оптимистично. На заседании ВЦИК 24 ноября 1917 года в докладе о ходе Брест-Литовских переговоров Каменев заявил: "Я могу сказать смело, на

основании своих впечатлений, для сепаратного мира у Германии предел уступок весьма и весьма широк. Но не для того мы ехали в Брест, мы туда поехали потому, что были уверены, что наши слова через головы германских генералов дойдут до германского народа, что наши слова выбьют из рук генералов оружие... Если германские генералы думают, что мы взяли слишком заносчивый тон и были слишком требовательны, то мы уверены, что наши требования будут еще больше... Мы были смелы... С одной и другой стороны использована сила штыков, но не использована еще сила революционного энтузиазма...»<sup>29</sup>.

Этот "революционный энтузиазм" — ставку на революцию в Германии — большевики начали использовать немедленно. Каменев открыто указывал на то, "что среди немецких солдат распространяется воззвание за подписью советского правительства. В этом возвании народные комиссары заявляют, что в случае, если немецким солдатам придется идти на помощь революционному тылу Германии, русские солдаты не будут наступать на германском фронте. Воззвание распространяется в миллионах экземпляров..." Немцев, конечно же, не слишком радовало такое поведение советского правительства, только что начавшего вести мирные переговоры. И уже в те дни они прислали "полуофициальный протест" против возвания советского правительства к германским солдатам, назвав его вмешательством во внутренние дела Германии, причем немцы указали, что "листок угрожает ходу мирных переговоров"<sup>30</sup>. Но германский протест советское правительство игнорировало<sup>31</sup>. Перемирие еще не означало мира. И по этой причине советские отказались включить в условия перемирия пункт об

обмене военнопленными: "Мы не гарантированы от того, как использует современное германское правительство возвращаемых пленных солдат... Мы, обменивая пленных, рискуем снабдить германский империализм миллионами солдат, употребление которых мы не можем контролировать. Если бы в Германии правил Либкнехт, мы бы отпустили пленных..."<sup>32</sup>.

Слишком многое представлялось неизвестным. Немцам не верили, с одной стороны, в германской революции не могли быть так уж уверены, с другой. Троцкий в этой ситуации считал самым правильным быть готовым к германскому наступлению, к войне: "Если бы мы ошиблись, если бы мертвое молчание продолжало сохраняться в Европе, если бы это молчание давало бы Вильгельму возможность наступать и диктовать условия, оскорбительные для революционного достоинства нашей страны, то я не знаю, смогли бы мы при расстроенном хозяйстве и общей разрухе, ...смогли бы мы воевать. Я думаю: да, смогли бы. (Бурные аплодисменты.) За нашу жизнь, за смерть, за революционную честь мы боролись бы до последней капли крови. (Новый взрыв аплодисментов.)"<sup>33</sup>.

Отгремев аплодисментами, ВЦИК Троцкого поддержал. 21 ноября заключен был договор о перемирии до 4 декабря 1917 года<sup>34</sup>, позже продленный до 1 января 1918-го; а 12 декабря министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Чернин объявил от имени стран Четверного союза, что "они согласны немедленно заключить общий мир без насильственных присоединений и контрибуций. Они присоединяются к русской делегации, осуждающей продолжение войны ради чисто завоевательных целей"<sup>35</sup>. Чернин, однако, сделал одну существенную оговорку: к предложению советской делегации

должны присоединиться все без исключения воюющие страны. Воспользовавшись этим заявлением, советская делегация, держащая общий курс на затягивание переговоров, предложила объявить десятидневный перерыв для привлечения к мирным переговорам всех воюющих держав. 17 декабря перерыв был объявлен.

27 декабря конференция возобновила свою работу. Теперь в переговорах принимала участие и делегация Украины<sup>36</sup>. Консультант советской делегации Липский доносил в связи с этим из Брест-Литовска в Петроград и в Ставку Главковерха: "На состоявшемся сегодня пленарном заседании державами четверного союза была признана делегация украинской республики делегацией отдельной. Право признания республики самостоятельным независимым государством державы союза оставляют до заключения мира. Нарком Троцкий, исходя из наличия в Украине всех условий, необходимых, по мнению русского правительства, для свободного волеизъявления, признал также это решение"<sup>37</sup>.

Признал, но опрометчиво<sup>38</sup>, и очень потом раскаивался, так как это автоматически поставило вне закона прибывшую в Брест-Литовск делегацию украинских большевиков во главе с В. М. Шахраем и Е. Г. Медведевым.

Советскую делегацию возглавляли теперь Троцкий и Карелин<sup>39</sup>. Послать решено было именно их, так как считалось, что никто лучше не смог бы справиться с основной задачей делегации на переговорах — затягивать их в надежде на скорый революционный взрыв в Германии и Австро-Венгрии<sup>40</sup>. И с этой задачей особенно хорошо справлялся демагог Троцкий. По свидетельству военного консультанта советской делегации генерала А. А. Самойло, "на заседаниях Троцкий высту-

пал всегда с большой горячностью, Гофман не оставался в долгу, и полемика между ними часто принимала острый характер”, а переговоры ”выливались главным образом в ораторские поединки между Троцким и Гофманом, в которых время от времени участвовали Чернин и Кюльман”<sup>41</sup>. Гофман, однако, вскоре разгадал маневр советского правительства и 5 января развернул перед советскими делегатами карту с начертанной на ней новой пограничной линией РСФСР. От России отторгались территории, общей площадью в 160 тыс. кв. км, в которые входили значительные части Польши, Прибалтики и ряда других районов страны. Германское предложение граничило с ультиматумом, и Троцкий с Карелиным, верные тактике затягивания переговоров, потребовали перерыва в несколько дней. Троцкий выехал в Петроград. Председателем советской делегации в его отсутствие назначался А. А. Иоффе<sup>42</sup>.

По вопросу об отношении к войне и миру в большевистской партии были существенные разногласия. Противодействие подписанию мира с Германией оказывали в первую очередь левые коммунисты — сторонники немедленной революционной войны за установление коммунистического режима во всей Европе. Первоначально они доминировали в двух столичных партийных организациях, причем неоднократно давали понять противникам, что столичные партийные активы стоят на их стороне. Так, 10—16 (23—29) декабря 1917 года в Москве состоялся Второй Московский областной съезд Советов, на котором левым коммунистам принадлежало большинство. Чуть позже ”фракция Московского Совета из 400 человек, составлявшая в то время актив московской организации, присоединилась к предложению Ленина

только 13 голосами против остальных 387, голосовавших за войну”<sup>43</sup>. А 28 декабря Пленум Московского областного бюро, у руководства которого стояли Ломов, Максимовский, Осинский, Сапронов, Стуков, принял резолюцию с требованием прекратить мирные переговоры с Германией и разорвать дипломатические отношения со всеми капиталистическими государствами. В тот же день против германских условий мира высказалось большинство Петроградского комитета партии<sup>44</sup>, в состав которого, в частности, входил Бокий, С. Косиор, Фенигштейн, С. Равич. Обе столичные организации потребовали кроме того созыва партийной конференции для обсуждения линии ЦК в вопросе о мирных переговорах<sup>45</sup>. Поскольку делегации на такую конференцию формировали бы сами комитеты, а не местные организации РСДРП (б), большинство участников конференции стояло бы на точке зрения левых коммунистов; и Ленину, не могшему тогда рассчитывать на победу даже при выгодном для него способе подбора делегатов, было бы обеспечено поражение. Ленин все это понимал очень хорошо, а потому всячески оттягивал вопрос о созыве конференции в надежде, что ситуация в партии изменится в лучшую для него сторону.

Против Ленина, тем временем, выступили возглавляемые левыми коммунистами Московский окружной, Московский городской комитеты партии, а также ряд крупнейших партийных комитетов Урала, Украины и Сибири. Для Ленина такое положение означало потерю всякого контроля над партией. Вопрос о мире постепенно перерастал в вопрос о власти Ленина в партии большевиков, о весе его в правительстве советской России, о месте его в деле организации мировой революции.

Вопрос о Брестском мире стал теперь для Ленина вопросом его жизни и смерти. И Ленин развернул в партии отчаянную кампанию за подписание мира, за поражение своих противников, за руководство партией, за власть.

7 января Ленин написал "Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира"<sup>46</sup>. Он маневрировал в нескольких направлениях. ЦК он убеждал в том, что без заключения немедленного мира большевистское правительство падет под нажимом русского крестьянства. "Крестьянская армия, — писал Ленин, — невыносимо истомленная войной, после первых же поражений — вероятно, даже не через месяцы, а через недели — свергнет социалистическое рабочее правительство... Так рисковать мы не имеем права... Нет сомнения, что наша армия в данный момент абсолютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление... Сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим".

Ленина поддержал Троцкий. Британский дипломат Джордж Бьюкенен в один из тех дней записал в своем дневнике: "Троцкий знает очень хорошо, что русская армия воевать не в состоянии"<sup>47</sup>. Троцкий писал впоследствии, что для него это было "совершенно очевидно": "...Насчет невозможности революционной войны у меня не было и тени разногласий с Владимиром Ильичем. Но был еще вопрос: смогут ли воевать немцы, смогут ли наступать на революцию, которая заявит о прекращении войны?.. Январская стачка в Германии говорила о том, что сдвиг начался. Какова глубина сдвига? Не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий

класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны — рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны — гогенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать. 'Конечно это заманчиво, — возражал Ленин, — и несомненно, такое испытание не пройдет бесследно. Но это рискованно, очень рискованно...' "48.

8 января ленинские "Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира" были оглашены на совещании членов ЦК с делегатами-большевиками Третьего Всероссийского съезда Советов. К этому времени уже было разогнано Учредительное собрание, что многими в России и за границей рассматривалось как кивок в сторону немцев: Германия опасалась, что большевики пойдут на соглашение с большинством Учредительного собрания и по воле этого большинства прервут мирные переговоры с Четверным союзом. Но опасения Германии были напрасны: после 6 января позиция немецкой делегации на переговорах только усилилась. Как писал позднее Троцкий, разгон Учредительного собрания "означал для немцев нашу очевидную готовность к прекращению войны какой угодно ценой. Тон Кюльмана сразу же стал наглее" "49.

Однако, на заседании 8 января, где присутствовало 63 человека, Ленин потерпел полное поражение. Тезисы его одобрены не были<sup>50</sup>. Именно поэтому протокол заседания был зачислен советскими историками в "ненайденные".

При итоговом голосовании за предложение Ленина — подписание сепаратного мира — голосовало только 15 человек, в то время как 32 поддержали левых коммунистов, а 16 — формулировку Троцкого об установлении фактического мира без

формального заключения мирного соглашения. Эта формула, преподносимая советскими, да и многими западными историками, как что-то несуразное, имела вполне конкретный и практический смысл. Она, с одной стороны, базировалась на предпосылке, что Германия не в состоянии вести крупные наступательные действия на русском фронте, а с другой, имела тот плюс, что большевики "в моральном смысле" оставались "чисты перед рабочим классом всех стран"<sup>51</sup>. Кроме того, важно было опровергнуть всеобщее убеждение, что большевики просто подкуплены немцами и все происходящее в Брест-Литовске не более, как хорошо разыгранная комедия, в которой уже давно распределены роли. Для опровержения этих слухов, в которые верили и многие германские социалисты, Троцкому пришлось прибегнуть к "педагогической демонстрации" — прекратить военные действия за невозможностью далее вести их, но мира с Четвертым союзом не подписывать<sup>52</sup>. Троцкий, выступавший как ярый противник революционной войны<sup>53</sup>, действовал в полном согласии с Лениным. Вот как описывает Троцкий одну из своих бесед с Лениным по этому вопросу:

— ...Допустим, что принят ваш план. Мы отказались подписать мир, а немцы после этого переходят в наступление. Что вы тогда делаете?

— Подписываем мир под штыками. Тогда картина ясна рабочему классу всего мира.

— А вы не поддержите тогда лозунг революционной войны?

— Ни в коем случае.

— При такой постановке опыт может оказаться не столь уж опасным. Мы рискуем потерять Эстонию или Латвию... Очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонией, — шутил Ленин, — но

уж придется, пожалуй, для доброго мира пойти на этот компромисс.

— А в случае немедленного подписания мира разве исключена возможность немецкой военной интервенции в Эстонии или Латвии?

— Положим, что так, но там только возможность, а здесь почти наверняка”<sup>54</sup>.

На заседании ЦК 11 января Ленин снова выступил с тезисами о заключении сепаратного мира, но снова потерпел поражение. Бухарин на заседании заявил, что ”позиция тов. Троцкого самая правильная, а в позиции тов. Ленина он усматривает два противоречия. Напрасно тов. Ленин говорит против политической демонстрации, так как отказ от войны, братание, являются элементами разложения армии. Корнилова мы одолели разложением его армии, т. е. именно политической демонстрацией. Тот же метод мы хотим применить и к немецкой армии. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст, мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении... Подписывая мир мы срываем эту борьбу. Сохраняя свою социалистическую республику мы проигрываем шансы международного движения”.

Бухарина поддержал Урицкий, указавший, что Ленин ”смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной... Вся политика народного комиссариата иностранных дел была не чем иным, как политической демонстрацией”. Косиор протестовал против точки зрения Ленина от имени Петербургского комитета партии большевиков, а Дзержинский заявил, что Ленин ”делает в скрытом виде то, что в октябре делали Зиновьев и Каменев”. При такой оппозиции Ленина не спасала даже поддержка Сталина, Артема и Зиновьева (причем последний указал, что заключение мира

ослабит пролетарское движение на Западе). Формула Троцкого "мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем" была принята 9 голосами против 7. Вместе с тем 12 голосами против одного было принято внесенное Лениным предложение всячески затягивать подписание мира. Вопрос о подписании мира в тот день Ленин даже не осмелился поставить на голосование. С другой стороны, 11 голосами против двух при одном воздержавшемся была отклонена и резолюция левых коммунистов, призывающая к революционной войне<sup>55</sup>.

А пока что готовились к возможному германскому продвижению в глубь России. 24 января А. А. Самойло телеграфировал в штаб Западного фронта:

"Нарком Троцкий поручил мне доложить Вам..., что совокупность слагающейся здесь обстановки указывает на полную возможность, даже в ближайшие дни, решения Германского главнокомандования прервать перемирие и возобновить враждебные действия... Троцкий высказывается за необходимость провести самым ускоренным образом меры по вывозу в тыл и обеспечению материальной части наших армий"<sup>56</sup>.

26 января штаб Западного фронта ответил:

"В связи с вышеуказанной телеграммой приняты все меры к ускорению вывоза в тыл артиллерии и материальной части"<sup>57</sup>.

Поскольку резолюции расширенных или обычных совещаний ЦК, на которых терпел поражение Ленин, удивительным образом "не сохранялись", или числятся в "неразысканных", нелегко узнать, какую позицию в тот момент формально занимал ЦК партии большевиков. И все-таки можно с уверенностью сказать, что большинство ЦК при-

держивалось точки зрения, считавшейся "средней" — Троцкого. Вот что указывалось в письме Секретариата ЦК Николаевскому комитету РСДРП (б) :

"Относительно вопроса о войне и мире в Питере и в ЦК наметились три точки зрения. Две из них, крайние, таковы: 1) революционная война, 2) мир. ЦК в своем большинстве принял третью, среднюю точку зрения: войну мы прекращаем, мира *не* заключаем, и армию демобилизуем... Третья точка зрения доказывалась тем, что воевать сейчас мы не можем, но, заключая мир, мы отнимаем оружие борьбы у австрийцев и немцев, так как забастовочное движение в Австро-Венгрии и Германии поднято именно по вопросу о мире. Отказываясь от войны и демобилизуя армию, мы лишаем германцев возможности наступать, так как Гинденбург не сможет заставить немецких солдат идти в наступление против пустых окопов. Такая позиция тоже даст выгоду во времени, а если будет необходимость, то для нас никогда не поздно будет заключить явно аннексионистский мир. — Все это было до последних событий в Германии, а теперь и Кюльман склонен тянуть с вопросом о мире. — Протоколов этих заседаний нет, а потому ничего более подробного пока сообщить не можем"<sup>58</sup>.

Таким образом, на переговорах в Брест-Литовске Троцкий отстаивал "среднюю точку зрения" (которую, к тому же, разделял и сам) не по своему самодурству, как хочет представить это советская, а часто и западная историография, но по поручению ЦК большевистской партии. Вечером 27 января Троцкий доносил из Брест-Литовска в Смольный: "Сегодня Кюльман и Чернин подвели итоги всем происходившим до сего времени прениям и предложил завтра окончательно решить основной во-

прос... Таким образом, повторяю, окончательное решение будет вынесено завтра вечером”<sup>59</sup>. 28 января Троцкий вновь доносит в Петроград: ”Сегодня около 6 часов нами будет дан окончательный ответ”<sup>60</sup>.

Советский историк С. Майоров с возмущением пишет: ”Однако, ни в первом, ни во втором донесении Троцкий не сообщал, в чем же будет состоять существо того ответа, который он собирался дать на ультиматум германской делегации... Ему даны были совершенно точные инструкции, как поступить в случае предъявления ультиматума с немецкой стороны. ...Троцкий должен был, руководствуясь этими инструкциями, принять предложенные немецкими империалистами условия мира”<sup>61</sup>.

Но такие утверждения советских историков кажутся безосновательными. Какие же инструкции были посланы Троцкому в Брест-Литовск? По домыслам Майорова ”28 января (10 февраля) В. И. Ленин и И. В. Сталин”<sup>62</sup> от имени ЦК партии, еще раз подтверждая неизменность указаний партии и правительства о необходимости заключения мира, телеграфировали в Брест-Литовск Троцкому... Но Троцкий... нарушил директиву партии и правительства и совершил акт величайшего предательства”<sup>63</sup>.

Что же было в этой ленинской телеграмме, посланной, кстати говоря, в 6.30 в ответ на какой-то экстренный запрос Троцкого? Ленин писал: ”Наша точка зрения Вам известна; она только укрепилась за последнее время”<sup>64</sup> и особенно после письма Иоффе. Повторяем еще раз, что от Киевской Рады ничего не осталось и что немцы вынуждены будут признать факт, если они еще не признали его. Информировать нас почаще”<sup>65</sup>. В телеграмме, таким

образом, ни о каком мире с Германией не говорилось ни слова, причем, если бы этой известной Троцкому "точкой зрения" было согласие на германский ультиматум и подписание мирного договора, Ленину не нужно было бы выражаться эзоповым языком. Можно было просто дать короткую директиву подписать мир. В телеграмме же речь шла совсем о другом. Советские историки не случайно цитируют лишь первые одиннадцать слов телеграммы Ленина. "Письмо Иоффе" — это "Письмо председателя Российской мирной делегации в Брест-Литовске председателю Германской делегации" от 8 (21) января 1918 г.<sup>66</sup>. Касалось оно не мира, а попытки советского правительства добиться от Германии признания в качестве полноправной участницы переговоров советской украинской делегации. И именно по этому вопросу известна была Троцкому точка зрения ЦК: никаких уступок в отношении Украины, отказ от признания Киевской Рады, а в случае упорства немцев — разрыв Брест-Литовских мирных переговоров.

Вечером 28 января, в соответствии с директивами ЦК РСДРП (б) и телеграммой Ленина Троцкий от имени советской делегации сделал в Брест-Литовске заявление о разрыве мирных переговоров: "Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора"<sup>67</sup>. Кюльман, выслушав заявление Троцкого, ответил: "Военные действия, несмотря на продолжающееся состояние войны, прекращены на основании существующего еще договора о перемирии, но при отпадении этого договора военные действия автоматически возобновляются... То обстоятельство, что одна из сторон демобилизует свои армии, ни с фактической, ни с правовой стороны ничего не изменит в этом военном положении"<sup>68</sup>. На это Троцкий мог отве-

тить лишь тем, что не верит в способность немцев "и в дальнейшем опираться на помощь пушек и ружей"<sup>69</sup>. Переговоры были прерваны.

Заседание политической комиссии конференции в Брест-Литовске закончилось 28 января в 6.50 вечера. Вскоре после этого Троцкий телеграфировал Ленину о результатах: "Переговоры закончились. Сегодня, после окончательного выяснения неприемлемости австро-германских условий наша делегация заявила, что выходим из империалистической войны, демобилизуем свою армию и отказываемся подписать аннексионистский договор. Согласно сделанному заявлению издайте немедленно приказ о прекращении состояния войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией и о демобилизации на всех фронтах. Нарком Троцкий"<sup>70</sup>.

Но Ленин не торопился объявлять о мире и демобилизации. Он намеревался выждать, сохраняя остатки русской армии для отражения возможного германского наступления. По-иному смотрело на проблему большинство членов ЦК РСДРП(б), предпочитавшее политические выгоды демобилизации военному проигрышу. К этому большинству, безусловно принадлежал и Троцкий, который, заподозрив Ленина в умышленном бездействии, около 9 часов вечера сам связался с Крыленко и велел ему издать "немедленно этой ночью приказ о прекращении состояния войны... и о демобилизации на всех фронтах"<sup>71</sup>. В 4 часа утра 29 января приказ был утвержден наркомом по военным делам Подвойским<sup>72</sup>, а в восемь — передан радиограммой от имени Крыленко: "Мир. Война кончена. Россия больше не воюет... Демобилизация армии настоящим объявляется"<sup>73</sup>.

Потерпев обычное для него в те дни поражение,

Ленин и не думал сдаваться. Через своего секретаря (почему-то не лично) он передал в Ставку Верховного главнокомандующего приказ: "Сегодняшнюю телеграмму о мире и о всеобщей демобилизации армии на всех фронтах отменить всеми имеющимися у вас способами по приказанию Ленина"<sup>74</sup>. Но Ленина не послушали. В 17 часов во все штабы фронтов была переслана пространная телеграмма за подписью Крыленко о прекращении войны, демобилизации и "уводу войск с передовой линии"<sup>75</sup>. Только не было мира. Война продолжалась. В этом смысле Ленин суетился не зря. Приказ о демобилизации и заявления об установлении мира были поспешными.

29 января сообщение о заявлении Троцкого на переговорах в Брест-Литовске и о разрыве переговоров появилось в советской печати<sup>76</sup>.

"Это был единственный правильный выход, — комментировал Зиновьев заявление Троцкого в речи на заседании Петроградского Совета 29 января 1918 года. — И я уверен, что большинство наших сознательных рабочих скажет то же самое... Мы, несмотря на все ...крики отчаяния "правых", глубоко убеждены, что наступления со стороны немецких империалистов быть в данный момент не может... Итак, нет сомнения, что выход из создавшегося положения, найденный нашей делегацией в Бресте, — это был единственно правильный путь для нашей великой революции..."<sup>77</sup>.

Зиновьев не ошибся. Петроградский Совет поддержал заявление советской делегации в Брест-Литовске большинством голосов<sup>78</sup>. Позиция Троцкого была одобрена и центральным комитетом РСДРП(б), где на заседании вечером 4 (17) февраля Ленин снова потерпел поражение, даже несмотря на то, что за день до этого, в 19.30 16 февраля по

н. с. советское правительство получило предъявленный Германией ультиматум: "Неподписание Троцким мирного договора автоматически ведет за собой прекращение перемирия; в 12 часов дня 18 февраля Германия начинает наступление по всему русскому фронту"<sup>79</sup>.

ЦК большевиков, однако, на своем заседании, обсудив германский ультиматум, решил обождать с возобновлением мирных переговоров до тех пор, пока не проявится германское наступление и не обнаружится его влияние на пролетарское движение Запада. Требование Ленина "немедленно предложить Германии вступить в новые переговоры для подписания мира" было отвергнуто 6 голосами против 5. Против немедленного возобновления переговоров даже под угрозой германского нашествия голосовали Троцкий, Бухарин, Ломов, Урицкий, Иоффе и Крестинский. За предложение Ленина: Сталин, Свердлов, Сокольников, Смилга и сам Ленин<sup>80</sup>.

На заседании ЦК РСДПР (б) утром 18 февраля резолюция Ленина снова была провалена перевесом в один голос: шесть против семи. Новое заседание назначили на вечер. И только вечером, после продолжительных споров, 7 голосами против 5 предложение Ленина было принято. За него голосовали Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов, Зиновьев, Сокольников и Смилга. Против — Урицкий, Иоффе, Ломов (Оппорков), Бухарин, Крестинский<sup>81</sup>. Подготовка текста обращения к правительству Германии поручалась Ленину и Троцкому. Пока же ЦК постановил немедленно послать немцам радио-сообщение о согласии подписать мир. Свердлов между тем должен был отправиться к левым эсерам известить их о решении большевистского ЦК и о том, что решением советского правительства будет

считаться совместное решение центральных комитетов РСДРП(б) и ПЛСР (Партии левых социалистов-революционеров)<sup>82</sup>.

Германское наступление не могло не отразиться на отношении Антанты к советскому правительству. Заинтересованные в продолжении военных действий на советско-германском фронте, Англия и Франция искали случая для втягивания советской России в свою орбиту. Этот случай представился 18 февраля. Сразу же после начала германского наступления французский посол в РСФСР Нулас позвонил в Наркоминдел и сообщил, что Франция могла бы помочь советскому правительству, если последнее пожелает оказать сопротивление Германии<sup>83</sup>. С аналогичным предложением обратились к советскому правительству англичане. От имени советского правительства переговоры с Антантой вел Троцкий. Какие только предложения ни делал он союзникам с целью получения от них помощи. Локкарт пишет: "Троцкий... хотел воевать... Продолжение войны он считал неизбежным. Если союзники пообещают поддержку, то он-де проведет в правительстве решение о продолжении военных действий. Неоднократно просил я Лондон сказать какое-нибудь слово, которое придало бы духу Троцкому... Все было напрасно..."<sup>84</sup>. Английское правительство на многочисленные просьбы Локкарта подтвердить готовность Великобритании оказать большевикам непосредственную поддержку в случае продолжения войны с Германией посчитало нужным не отвечать.

В ЦК РСДРП(б) предложения английского и французского представителей в России обсуждались на заседании 22 февраля. В этот день немцы, убедившись, что Ленин хочет капитулировать любой ценой, предъявили новые, еще более тяжелые

Условия мира, предоставив 48 часов на размышление. Как писал об этом ультиматуме генерал Гофман, "ультиматум содержит все требования, какие только можно было выставить"<sup>85</sup>. На заседании ЦК мнения по вопросу о принятии от Антанты помощи в деле борьбы с Германией разделились. Свердлов, Дзержинский, Иоффе, Сокольников, Троцкий и Смилга высказались "за". Бухарин, Ломов, Бубнов, Крестинский и Урицкий — "против". Ленин на заседании не присутствовал, но прислал в ЦК циничную записку: "Прошу присоединить мой голос за взятие картошки и оружия у разбойников англо-французского империализма". Троцкий же заявил, что если РСФСР пойдет на ведение революционной войны, то она *должна* использовать поддержку Англии и Франции. Шестью голосами против пяти предложение Троцкого было принято. Резолюция признавала возможным закупку у англичан и французов вооружения и обмундирования для революционной армии.

Впрочем, от идеи заключения мира с Германией ЦК не отказался, а потому на заседании 22 февраля произошел фактический раскол большевистской партии. Бухарин вышел из состава ЦК и сложил с себя обязанности редактора "Правды", а группа в составе Ломова, Урицкого, Бубнова, С. Смирнова, Ин. Стукова, М. Бронского, В. Яковлевой, Спунде, М. Покровского и Г. Пятакова подала в ЦК заявление о своем несогласии с решением, оставив за собой право вести в партийных кругах широкую агитацию против политики ЦК. Иоффе, Дзержинский и Крестинский также заявили о своем несогласии с решением ЦК подписать мир, но воздержались от присоединения к группе Бухарина, так как это означало бы окончательно расколеть партию, а делать это они считали недопустимым<sup>86</sup>.

В этот период необыкновенного разброда в партии большевиков ПЛСР оставалась верным и преданным союзником и делала все от себя зависящее для поддержания обороноспособности советской России и укрепления большевистско-левоэсеровского блока. Когда 21 февраля Совнаркомом был утвержден декрет-воззвание "Социалистическое отечество в опасности!" и вечером того же дня передан на обсуждение во ВЦИК, левые эсеры поддержали декрет против эсеров, меньшевиков и левых коммунистов, а на следующий день вместе с большевиками приняли участие в работе чрезвычайного заседания расширенного президиума ЦИК, на котором большевистские и левоэсеровские руководители выслушали соображения военных специалистов, только что прибывших из Ставки, об обороне Петрограда<sup>87</sup>. В течение всего 23 февраля большевики и левые эсеры еще делали жалкие попытки сформировать хоть какие-то вооруженные отряды<sup>88</sup>. Безуспешно.

23 февраля состоялось очередное заседание ЦК РСДРП(б). Обсуждались предложенные Германией новые мирные условия. Их огласил Свердлов. Ленин потребовал немедленного согласия на германские условия и заявил, что в противном случае уйдет в отставку. Тогда слово взял Троцкий: "Вести революционную войну при расколе в партии мы не можем. ...При создавшихся условиях наша партия не в силах руководить войной... Доводы В. И. (Ленина) далеко не убедительны; если мы имели бы единодушие, могли бы взять на себя задачу организации обороны, мы могли бы справиться с этим. Мы не были бы в плохой роли, если бы даже принуждены были сдать Питер и Москву. Мы бы держали весь мир в напряжении. Если мы подпишем сегодня германский ультиматум, то мы

завтра же можем иметь новый ультиматум. Все формулировки построены так, чтобы дать возможность дальнейших ультиматумов. ...С точки зрения международной, можно было бы многое выиграть. Но нужно было бы максимальное единодушие; раз его нет, я на себя не возьму ответственности голосовать за войну”<sup>89</sup>.

Троцкого поддержал Дзержинский: ”Передышки не будет, наше подписание, наоборот, будет усилением германского империализма. Подписав условия, мы не гарантируем себя от новых ультиматумов. Подписывая этот мир, мы ничего не спасаем. Но согласен с Троцким, что если бы партия была достаточно сильна, чтобы вынести развал и отставку Ленина, тогда можно было бы принять решение, теперь — нет”.

Иоффе по тем же причинам просто отказался от слова. Но Урицкий, Бухарин и Ломов твердо выступили против. Урицкий аргументировал тем, что ”капитуляция перед германским империализмом задержит зарождающуюся революцию на Западе... Советская власть не спасется подписанием этого мира”. Бухарин — что ”гражданская война вовсе не должна быть только в одной стране. Передышки нет”. Ломов — что ”в германских войсках непременно будет раздражение. Если Ленин грозит отставкой, то напрасно пугаются. Надо брать власть без В. И. (Ленина). Надо идти на фронт и делать все возможное”<sup>90</sup>.

Даже Сталин — сторонник Ленина — первоначально не высказался за мир: ”Можно не подписывать, но начать мирные переговоры”. Но Ленин одернул его сразу же: ”Сталин не прав, когда он говорит, что можно не подписывать”<sup>91</sup>. И Ленин победил: Троцкий, Дзержинский, Крестинский и Иоффе — противники Брестского мира — воздер-

жались при голосовании. Урицкий, Бухарин, Ломов и Бубнов все-таки голосовали против. Но Стасова, Зиновьев, Сталин, Свердлов, Сокольников и Смилга поддержали Ленина. 7 голосами против 4 при 4 воздержавшихся германский ультиматум был принят. Вместе с тем ЦК единогласно принял решение "готовить немедленно революционную войну"<sup>92</sup>.

Но Ленин и сам уже не был рад теперь своей победе: Урицкий "от своего имени и имени членов ЦК Бухарина, Ломова, Бубнова, кандидата в члены ЦК Яковлевой и присутствующих на заседании Пятакова и Смирнова" заявил, что не желает нести ответственности за принятое решение, "тем более, что решение это принято меньшинством ЦК, так как 4 воздержавшихся... стоят на нашей позиции", и пригрозил отставкой всех указанных большевистских функционеров. Началась паника. Сталин сказал, что "оставление ими постов есть зарез для партии". Троцкий, "что, может быть, он голосовал бы иначе, если бы знал что его воздержание поведет к уходу товарищей". Ленин был согласен теперь на "немую или открытую агитацию против подписания мира" — только чтоб не уходили с постов<sup>93</sup>. Не послушались — ушли, оставив за собой право свободной агитации. И защиту лозунга революционной войны развернули впоследствии на страницах печати, посвящая этому вопросу редакционные статьи в газетах "Социал-демократ" (Москва), "Уральский рабочий" (статьи Преображенского и Сафарова), а несколько позже — в "Коммунисте" (статьи Бухарина, В. Смирнова, Радека и многих других).

Совместное заседание ЦК РСДРП(б) и ЦК ПЛСР было назначено на вечер 23 февраля. Протокол его числится в ненайденных, возможно потому, что, вопреки утверждениям советских историков, левые

эсеры поддержали ленинскую идею мира. Основания считать так есть по крайней мере уже потому, что ЦК ПЛСР поддержал Ленина еще 18 февраля, когда даже большинство ЦК РСДРП (б) голосовало против ленинского предложения. Вопрос затем был передан на обсуждение фракций ВЦИК, заседавших всю ночь с 23 на 24 февраля то порознь, то совместно. В результате за ленинскую резолюцию голосовало 116 членов ВЦИК, против — 85 (эсеры, меньшевики, анархисты, левые эсеры, левые коммунисты), 26 человек — все 26 левые эсеры, сторонники подписания мира<sup>94</sup>, воздержались<sup>95</sup>. В 5.25 утра заседание окончилось. Ленин победил. Через полтора часа в Берлин, Вену, Софию и Константинополь было передано сообщение Совнаркома о принятии германских условий и посылке в Брест-Литовск делегации<sup>96</sup>. Однако германское наступление, как и предусматривал новый ультиматум Берлина, продолжалось до подписания мирного договора.

У большевиков все эти дни продолжался раскол. Все заседание ЦК 24 февраля прообсуждали, кто войдет в состав делегации по подписанию Брестского мира. Ехать никто не хотел. Иоффе ехать отказывался. Зиновьев предлагал кандидатуру Сокольников. Сокольников — Зиновьева. Все вместе — Иоффе. Иоффе оговаривал свою поездку сотнями "если", Сокольников — грозил отставкой. Ленин — просил "товарищей не нервничать..., в делегацию может поехать тов. Петровский как народный комиссар". Ломов, Смирнов, Урицкий, Пятаков, Боголепов и Спунде подали заявление об уходе с занимаемых ими постов в СНК. Троцкий вспомнил, что еще пять дней назад подал заявление об уходе в отставку с поста наркома иностранных дел и теперь настаивал на своей отставке. Зиновьев "убеждает

его остаться до подписания мирного договора, ибо кризис еще не разрешился". Сталин "ничего не предлагает, но говорит о той боли, которую он испытывает по отношению к товарищам. Его поражает быстрота и натиск их, когда они прекрасно знают, что их некем заменить, и ставит вопрос, зачем они это делают". Троцкий обижается — "вся практическая работа делается помимо него, так же, как и внешнее руководство. Он не отказывается практически помочь, где надо, но не хочет больше нести ответственности". Зиновьев просит Троцкого "отложить уход на 2—3 дня". Сталин тоже "просит его выждать пару дней". А Троцкий констатирует раскол в партии большевиков:

"...В партии сейчас два очень резко отмежеванных друг от друга крыла. Если смотреть с точки зрения парламентской, то у нас есть две партии, и в смысле парламентском надо было бы меньшинству уступить, но у нас этого нет, так как у нас идет борьба групп. Мы не можем сдавать позиции левым эсерам. Он, Троцкий, должен для себя провести минимум ограничения, не желая раскалывать партии. Он указывает, что текущую работу может вести Чичерин, а политическое руководство должен взять Ленин. Свое заявление о сложении полномочий он согласен сделать в самой недемонстративной форме..."

Ленин указал, что "это неприемлемо". Споры возобновились<sup>97</sup>. Но лишь усилили раскол: в этот день Московское областное бюро большевистской партии, куда, в частности, входили Ломов, Манцев, Сапронов, Оболенский (Осинский) и Яковлева, приняло резолюцию о недоверии ЦК "ввиду его политической линии и состава". В своем объяснении бюро писало, что "в интересах международной революции" считает "целесообразным идти на

возможность утраты советской власти, становящейся теперь чисто формальной”<sup>98</sup>.

Как назло, в тот день оказала Ленину медвежью услугу Австрия. 24 февраля австрийский министр-президент Зейдлер заявил в палате общин, что ”Австрия не участвует в военных действиях, принятых Германией против России”<sup>99</sup>. Снова, казалось бы, правыми оказывались сторонники точек зрения Троцкого или Бухарина, а не Ленина, с его ”миром” и ”передышкой”. Из большевистских руководителей один лишь Сокольников согласился во имя партии взять на себя столь отвратительную большевикам и левым эсерам миссию — поставить подпись под договором. С Сокольниковым поехали Г. И. Петровский, Чичерин, Карахан и Иоффе. Но последнего удалось уговорить поехать только как консультанта, а не как дипломата, завершавшего переговоры.

А Ленин мельтешил, никому уже не верил, нервничал. И когда делегация застряла на станции под Псковом и послала телеграмму в Петроград, что ”пришлось стоять почти сутки вследствие невозможности ехать дальше в обстановке бегущей царской армии”<sup>100</sup>, Ленин забеспокоился. Самые страшные, смутные догадки вдруг захватили его, и в 9 вечера 25 февраля он послал на станцию Новоселье для мирной делегации запрос: ”Не вполне понимаем вашу телеграмму. Если Вы колеблетесь, это недопустимо. Пошлите парламентариев и старайтесь выехать скорей к немцам”<sup>101</sup>.

28 февраля делегация прибыла в Брест. 3 марта, следуя имеющимся у него инструкциям, Сокольников подписал составленный немцами договор, даже не прочитав его предварительно, заявив, что отказывается ”от всякого его обсуждения, как со-

вершенно бесполезного при создавшихся условиях”<sup>102</sup>.

В силу, однако, договор мог вступить лишь после ратификации его тремя инстанциями: съездом партии большевиков, назначенным еще на 20 февраля, но так до сих пор и не созванным; съездом Советов, до созыва которого осталось примерно две недели; и немцами. В распоряжении сторонников и противников ратификации оставалось, таким образом, время, которое каждая из сторон хотела использовать в своих интересах. Ленин прежде всего попробовал аннулировать решение Московского областного бюро партии. Случай для этого представился на Московской общегородской конференции РСДРП (б), созванной вскоре после подписания мира, в ночь с 4 на 5 марта. Чтобы ослабить позиции левых коммунистов, их противники настояли на участии в конференции ”многочисленных представителей московских фабрик и заводов”<sup>103</sup>, и ”рабочих из районов”<sup>104</sup>, отнюдь не поддерживавших левацких планов революционной войны, но и критически относившихся к идее заключения сепаратного мира с немцами на столь унижительных для России условиях.

В докладах участников конференции были представлены все три точки зрения: Ленина, Троцкого и левых коммунистов. Ленинскую позицию защищали Г. Е. Зиновьев и Свердлов. От имени левых коммунистов выступил Оболенский (Осинский), предложивший конференции принять резолюцию о недоверии ЦК, вынесенную ранее Московским областным бюро партии. Однако левые коммунисты потерпели поражение. За резолюцию Осинского голосовало только 5 человек. В этом смысле Ленин одержал победу. 65 делегатов конференции одобрили резолюцию, выразившую до-

верие ЦК РСДРП (б), и высказались за сохранение во что бы то ни стало единства партии<sup>105</sup>. Но и поражение Ленин тоже потерпел: большинство участников конференции, 46 человек, проголосовало против подписания мира (резолюция Покровского). А поскольку голосовали против левых коммунистов, с одной стороны, против ленинской идеи подписания мира, с другой, то и получалось, что уже этим поддержали последнюю, "среднюю", точку зрения — "ни мира, ни войны", Троцкого. И именно Троцкий вышел на конференции единоличным победителем<sup>106</sup>.

Лев Давыдович Троцкий был человеком неиссякаемой энергии. Более динамичную и неусидчивую персону трудно было найти среди вождей коммунистической революции в России. Без каких-либо усилий со своей стороны одерживая победу в вопросе о Брестском мире и над Лениным, и над левыми коммунистами, Троцкий, однако, настолько был далек от бонапартизма, что не пытался своей победой закрепить за собой то ведущее положение, которого так добивался Ленин. Вот и теперь, в дни склоки между Лениным и левыми коммунистами, когда каждая из сторон забрасывала противную комьями грязи в надежде на получение большинства голосов делегатов предстоящих съездов, Троцкий, за которым стояло фактическое большинство, без боя уступал свое первенство и занимался куда более важными для революции делами, пробовал найти "лучшую, чем мир" (ленинский или троцкистский) альтернативу.

В конце февраля — начале марта Ленин как председатель СНК и Троцкий как нарком иностранных дел неоднократно встречались с неофициальными представителями Антанты в советской Рос-

сии. Так, 27 февраля Ленин беседовал с представителем французской военной миссии графом де Люберсаком о возможности использования французской военно-технической помощи в деле борьбы с Германией. А Троцкий вел переговоры с англичанином Локкартом и руководителем миссии американского Красного Креста в РСФСР полковником Робинсом. Троцкий определенно дал понять, что Брестский мир не будет ратифицирован, если союзники пообещают предотвратить надвигающуюся японскую интервенцию в Сибири и окажут советской России военную помощь в борьбе против Германии. Разумеется, советское правительство могло быть и неискренне в своих заверениях. Однако большевики, безусловно, пошли бы на разрыв с Германией, вынуждены были бы пойти, если бы немцы потребовали ухода РСДРП(б) от власти, как условия для заключения мира. Все возможные варианты, поэтому, должны были быть учтены.

Подписание мира, казалось, не принесло желаемого облегчения. В реальный мир никто не верил. Со дня на день ожидалось падение Петрограда, занятие его немцами. И на следующий день после подписания в Брест-Литовске мирного договора, 4 марта, Петроградский комитет РСДРП(б) обратился в ЦК с письмом, в котором ставил вопрос о переходе Петроградской организации партии на нелегальное положение в связи с угрозой занятия города немцами. На случай ведения работы в условиях подполья Петроградский комитет просил выделить ему несколько сот тысяч рублей. Комитет также предлагал не собирать партийный съезд в Петрограде, а перенести его в Москву и эвакуировать туда всех прибывших на съезд делегатов, чтобы

не "потерять своих лучших товарищей" в случае захвата города немцами<sup>107</sup>.

Впрочем, председатель Петроградского совета Зиновьев, кажется, был спокоен: "Реальное соотношение сил показывает, что немецкий империализм в настоящий момент в силе потребовать от нас беспощинно фунт мяса, но все же он не имеет возможности требовать выдачу головы Совета. Тов. Бухарин как-то сказал, что если бы он был германским империалистом, то не постеснялся бы оккупировать Петроград и разгромить Смольный. Да, эти опасения небезосновательны, но теперь... Германия не пойдет на дальнейшее наступление, как ни соблазнительна перспектива оккупации Петрограда и разгром Смольного"<sup>108</sup>.

Троцкий, тем временем, продолжал организовывать союзническую помощь. 5 марта состоялась очередная его встреча с Локкартом и Робинсом, последняя перед открытием Седьмого съезда партии, на котором большевики должны были ратифицировать Брест-Литовский мирный договор и передать его для окончательной ратификации съезду Советов. В тот день, по совету Робинса, который доверял большевикам куда больше, чем сами США или их союзники<sup>109</sup>, советское правительство обратилось к Соединенным Штатам с официальной нотой, в которой говорилось:

"В случае, если Всероссийский Съезд Советов откажется ратифицировать Мирный договор с Германией, или если германское правительство, нарушив Мирный договор, возобновит наступление с целью продолжать свой грабительский набег, или если Советское Правительство вынуждено будет действиями Германии отказаться от Мирного договора, до или после его ратификации, и возобновить военные действия, — во всех этих случаях

для военных и политических планов Советской власти в высшей степени важно получить ответ на следующие вопросы:

1. Может ли Советское Правительство рассчитывать на поддержку США, Великобритании и Франции в его борьбе против Германии.

2. Какого рода поддержка может быть оказана в ближайшем будущем и каким образом: военным снаряжением, транспортными средствами, субсидиями и продовольствием.

3. Какого рода поддержка может быть оказана самими США.

Если бы Япония в силу открытого или тайного соглашения с Германией или без такового соглашения попыталась захватить Владивосток и Восточно-Сибирскую ж. д., что угрожало бы отрезать Россию от Тихого океана и серьезно помешало бы сосредоточению советских войск на Урале — в таком случае, какие шаги будут предприняты другими союзниками, в частности США, для предупреждения японской высадки на нашем Дальнем Востоке...

В каких размерах, по мнению США, при вышеупомянутых обстоятельствах, могла бы быть обеспечена помощь Великобритании через Мурманск и Архангельск. Какие шаги могло бы предпринять правительство Великобритании, чтобы обеспечить эту свою помощь..."<sup>110</sup>.

Это был фактически открытый курс на разрыв с Германией. На Локкарта нота произвела ошеломляющее впечатление. В тот же день, 5 марта, в предчувствии удачи он доносил в Лондон: "Уполномочьте меня информировать Ленина, что вопрос о японской интервенции урегулирован... что мы готовы поддержать большевиков постольку, поскольку они будут противостоять Германии, что

мы склоняемся к его условиям, как к лучшему варианту, при котором эта помощь может быть оказана. Платой за это будет большая вероятность того, что /Германии/ будет объявлена война”<sup>111</sup>.

Но правительство Англии реагировало на советское заявление и донесение Локкарта крайне сдержанно, а американский президент Вильсон отказался оказать большевикам ”непосредственную и деятельную поддержку”<sup>112</sup>. В результате, большевистский съезд ратифицировал мирный договор с Германией. Он был расторгнут только 13 ноября, через два дня после окончания первой мировой войны, когда в попытке подстегнуть революцию в Германии Красная армия начала наступление на Запад, но, захлебнувшись в бессилии, откатилась.

## ЭПИЛОГ

Всю эпопею Брестского мира и его расторжения и раскол в большевистской партии затевал, в конечном итоге, Ленин ради революции в Германии, а значит — революции в Европе. Поражение германской революции воспринял он крайне болезненно, так как в том была не только заслуга фон Гольца, но и вина Ленина. В девятнадцатом же году для надежды на мировую революцию оставалось места еще меньше: все сильнее разгоралась в России гражданская война. И сковала верные большевикам силы. Эта Белая опасность была куда серьезней германской оккупации. От нее нельзя было отбиться лозунгами о мировой революции. С ней нельзя было заключить ни мира, ни перемирия. С ней нельзя было играть в ”передышки”. Можно было либо самим разбить ее, либо быть разбитым ею. Только в 1920 году, когда напал внешний враг,

— Польша, — Ленин испробовал на ней метод левых коммунистов — отчаянную революционную войну. Но то, что, возможно бы, сработало в восемнадцатом в Германии, в двадцатом в Польше провалилось.

Годом позже Тамбовское крестьянское восстание и восстание матросов в Кронштадте заставили большевиков отказаться от самого лозунга немедленной революционной войны ("перманентной революции"). Ленин вынужден был пойти на подписание нового "Брестского мира", теперь уже с населением захваченной большевиками страны — России. И эту передышку, названную НЭПом, нельзя было разорвать так легко, как Брестскую. Капиталистическая Европа, в бескомпромиссность которой ошибочно верил до 1921 года Ленин, с облегчением вздохнула: НЭП, по заявлению Ленина, вводился "всерьез и надолго".

## СНОСКИ

1. См., например, *Germany and the Revolution in Russia 1915—1918. Documents from the Archives of the German Foreign Ministry*. Edited by Z. A. B. Zeman. — London, 1958.

2. См. М. Гофман. *Записки и дневники, 1914—1918*. — Пер. с немецкого. Ленинград, 1929, с. 101.

3. *Документы внешней политики СССР* (Далее: "ДВП"). т. 1. — Москва, 1959, сс. 19—20.

4. Еще 10 мая соответствующие телеграммы были посланы помощником статс-секретаря МИДа Германии Стуммом германским послам в Стокгольме и Берне. В телеграмме в Стокгольм указывалось: "Прошу вас распространить через вашего агента агитацию в пользу публикации военных и политических соглашений, заключенных до на-

чала войны старым режимом в России с Англией и Францией". Примерно того же требовала и бернская телеграмма: "Прошу вас через подходящих агентов обратить внимание возвращающихся в Россию эмигрантов на ту идею, что им следует требовать от своего правительства публикации соглашений, заключенных старым русским режимом с Англией и Францией" (Земан, указ соч., с. 57, док. № 59).

5. ДВП, т. 1, с. 21. Опубл. в "Известиях", 10 ноября 1917, № 221.

6. Протоколы заседаний ВЦИК II созыва. — Москва, 1918, с. 42.

7. См. Сборник секретных документов из архива бывшего Министерства Иностранных дел, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Декабрь 1917 — февраль 1918, Типография Комиссариата по иностранным делам, Дворцовая, 6.

8. См. А. С. Бахов. На заре советской дипломатии. Органы советской дипломатии в 1917—1922 гг. — Москва, 1966, сс. 25—26.

9. Сборник секретных документов, № 7, последняя стр. обложки.

10. Там же, с. 321.

11. О. Чернин. В дни мировой войны. — Москва-Петроград, 1923, с. 236.

12. А. Заончковский. Мировая война 1914—1918 гг., т. II. — М., Воениздат, 1938, с. 167.

13. Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года. Стенографический отчет. Москва, 1962, с. 82.

14. См. David Shub. Lenin. New York, 1948, p. 293.

15. Земан, указ. соч., док. № 114.

16. Протоколы заседаний ВЦИК II созыва, сс. 32—33.

17. Там же, с. 42.

18. Там же, сс. 52—53.

19. Там же, с. 53.

20. Там же, сс. 127—128.

21. Наш путь, 1918, № 2, с. 219.

22. Протоколы заседаний ВЦИК II созыва, с. 167.

23. Там же, с. 130.

24. Там же, с. 130.

25. Там же, с. 164.

26. Зиновьев, Сочинения, т. 7. — Ленинград, 1925, часть 1, с. 490.

27. Протоколы заседаний ВЦИК II созыва, с. 168.

28. Д. Далин. *Меньшевизм в период советской власти*, в кн.: *Меньшевики, сборник статей разных авторов, без выходных данных, отпечатано на машинке (ксерокопия)*, сс. 8—9 статьи Далина (код книги в Вайднеровской библиотеке Гарвардского университета: Slav 1688.1.10).

29. *Протоколы заседаний ВЦИК II созыва*, с. 82.

30. Там же, с. 92.

31. В ответ на германские требования советское правительство заявило, что в этом отношении "не брало на себя никаких обязательств" (там же).

32. Там же, с. 91.

33. Там же, с. 127.

34. См. газ. "Известия", 25 ноября 1917, № 235.

35. См. *Мирные переговоры в Брест-Литовске с 22 (9) декабря 1917 г. по 3 марта (18 февраля) 1918 г.* — Москва, 1920, т. 1, сс. 9—10.

36. В ее составе были статс-секретарь В. Голубович, М. Левитский, М. Люблинский, М. Полозов и А. Северюк, а также консультанты ротмистр фон Гассенко и профессор Е. Остапенко (см. *Мирные переговоры в Брест-Литовске*, т. 1, с. 42).

37. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 44. — цит. по кн.: С. М. Майоров. *Борьба советской России за выход из империалистической войны.* — Москва, 1959, с. 191.

38. См. *История ВКП(б)*, под общей ред. Ем. Ярославского, т. IV. — Москва-Ленинград, 1930, с. 294.

39. Консультантами при советской делегации были С. Бобинский и К. Радек (по делам Польши), П. И. Стучка (по делам Латвии), В. Мицкевич-Капсука (по делам Литвы). Цеплин и Вельтман-Павлович были из состава делегации выведены (см. *Мирные переговоры в Брест-Литовске*, т. 1, сс. 41—43).

40. См. L. Trotsky. *Lenin.* — New York, 1925, p. 103.

41. А. Самойло. *Две жизни.* — Москва, 1958, сс. 192—193.

42. Архив МИД СССР, ф. 413, оп. 1, пор. № 59, папка 5, л. 1. — цит. по кн.: С. М. Майоров. *Борьба советской России за выход из империалистической войны.* — Москва, 1959, с. 193.

43. См. VI Пленум МК и МКК ВКП(б). "Прения". (Вечернее заседание 18 октября 1928 г.) с. 34. Из выступления Сахарова (Трехгорная мануфактура). — цит. по Архиву Троцкого, bMs Russ 13, T—2788.

44. См. Первый легальный Петербургский комитет большевиков в 1917 г. — Москва-Ленинград, 1927. сс. 379—386.
45. См. К. Т. Свердлова. Яков Михайлович Свердлов. — Москва, 1976, с. 308.
46. См. Ленин. ПСС, т. 35, сс. 243—252.
47. Sir George Buchanan, My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories, 2 vv. — London, 1923, v. II, p. 245.
48. Троцкий. О Ленине. — Москва, 1924, сс. 78—79.
49. Там же, с. 80.
50. Более того, совещание запретило их публикацию, и впервые тезисы были опубликованы в "Правде" только 24 февраля, на следующий день после того, как ЦК на своем заседании принял ленинское предложение о подписании мира.
51. Ленинский сборник, 1929, т. XI.
52. Троцкий. О Ленине, сс. 80—81.
53. См. Ленинский сборник, т. VI.
54. Троцкий. О Ленине, сс. 82—83.
55. См. Протоколы ЦК РСДРП(б), сс. 167—173. Советский историк С. Борисов напрасно поэтому пишет в своей книжке "Седьмой съезд РКП(б)", что "троцкисты и 'левые коммунисты' провели резолюцию Троцкого" (С. Борисов. Седьмой съезд РКП(б). — Москва, 1956, с. 21). Левые коммунисты, как всегда, голосовали за свою собственную резолюцию.
56. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 175. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 213.
57. Там же.
58. Переписка секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. Сборник документов, т. II, Москва, 1957, сс. 190—191. (Указание в письме на то, что протоколов "нет", могло означать две вещи: либо протоколы тех заседаний решено было не вести вообще, либо — протоколы были засекречены для всех, кроме членов ЦК РСДРП(б).)
59. Архив МИД СССР, ф. 413, оп. 1, пор. № 88, папка 7, л. 56. — цит. по кн.: С. Майоров. Борьба советской России, с. 210.
60. Там же, с. 211.
61. Майоров. Борьба советской России, с. 211.
62. Передержки "культы личности". В четвертом изда-

нии собрания сочинений Ленина, которым пользуется Майоров, телеграмма подписана "Ленин. Сталин" (см. Ленин, Сочинения. 4-е изд., т. 26, с. 471). В пятом издании сочинений Ленина восторжествовала историческая правда — подпись Сталина под телеграммой убрали.

63. Майоров. Борьба советской России, с. 211.

64. Здесь обрывает цитирование Майоров (см. Майоров. Борьба советской России, с. 211).

65. Ленин. ПСС, т. 35, с. 332.

66. См. Мирные переговоры в Брест-Литовске. Т.1, сс. 251—253.

67. Архив МИД СССР, ф. 413, оп. 1, пор. № 67, папка 7, л. 59. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 211.

68. Там же, папка 5, л. 7. с. 212.

69. Там же, папка 7, л. 8. с. 212.

70. Там же, папка 7, л. 63. с. 215.

71. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 178. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 214.

72. См. ЦГАОР СС, ф. 130, оп. 2, д. 500, л. 95. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 215.

73. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 180. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 214.

74. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 187. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 215.

75. ЦГВИА, ф. 2003, оп. 1, д. 537, л. 184, 186. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 216.

76. Зиновьев, Сочинения, т. 7, ч. 1, с. 499.

77. Там же, сс. 499—500.

78. Там же, с. 501.

79. См. Седьмой экстренный съезд РКП(б), с. 375.

80. См. Протоколы ЦК РСДРП(б), сс. 194—195; Протоколы съездов и конференций, с. 268. Поскольку Ленин вновь потерпел поражение, протокол оказался в "ненайденных".

81. См. Протоколы заседаний ЦК РСДРП(б), с. 204.

82. Там же, с. 205.

83. См. Jacques Sadoul. Notes sur la Revolution Bolshévique. — Paris, 1920, p. 115.

84. Р. Локкарт. Буря над Россией. — Рига, 1933, с. 213.

85. М. Гофман. Записки и дневники, 1914—1918. Пер. с нем. — Ленинград: Красная газета, 1929, с. 240.

86. См. Протоколы заседаний ЦК РСДРП(б), с. 206—210.

87. См. М. Д. Бонч-Бруевич. Вся власть Советам. — Москва, 1964, с. 251.

88. Там же, сс. 251—252.

89. Протоколы заседаний ЦК РСДРП (б), сс. 211—212.

90. Там же, сс. 212—214.

91. Там же, сс. 212—213.

92. Там же, с. 215.

93. Там же, сс. 216—218.

94. См. Протоколы съездов и конференций, с. 262. Возможно, что двое из тех 26 были анархистами.

95. Ленин. ПСС, т. 35, с. 490, примечание; с. 147.

96. Майоров. Борьба советской России, сс. 230—321.

97. См. Протоколы заседаний ЦК РСДРП (б), сс. 219—228.

98. В. В. Анিকেев. Деятельность ЦК РСДРП (б) — РКП (б) в 1917—1918 годах. Хроника событий. — Москва, 1974, с. 210.

99. Цит. по кн.: Седьмой экстренный съезд РКП (б), с. 375.

100. "Известия", 30 января 1924, статья Чичерина. (Вспомнили о царской армии через год после революции; то бежала армия Временного правительства и большевиков!)

101. Архив МИД СССР, ф. 413, оп. 1, пор. № 92, папка 7, л. 2—3. — цит. по кн.: Майоров. Борьба советской России, с. 236.

102. ДВП, т. 1, с. 119.

103. Свердлова, указ. соч., с. 316.

104. Седьмой экстренный съезд РКП (б), с. 370.

105. См. Зиновьев. Сочинения, т. 7, ч. 1, с. 516.

106. Советская историография, разумеется, делает все возможное, чтобы не признавать за Троцким этой победы. Авторы примечаний к книге "Седьмой экстренный съезд РКП (б)" делают вид, что резолюция о выражении доверия ЦК была "ленинской" и противостояла резолюции Троцкого. Но очевидно, что это не так. Резолюция о выражении доверия ЦК, собравшая 65 голосов, была направлена против резолюции Оболенского, т. е. левых коммунистов, против решения Московского областного бюро РСДРП (б), была, наконец, направлена против раскола партии. Но о поддержке ленинской позиции по вопросу о ратификации мира в ней ничего не говорилось. И если предположить, что в конфе-

ренции участвовало 70 человек (65+5), из которых 46 голосовало за резолюцию Троцкого, а по крайней мере 5 человек должны были снова поддержать левых коммунистов, становится очевидным, что за ленинскую точку зрения не могло голосовать больше, чем 19 делегатов конференции.

107. См. Переписка секретариата ЦК..., т. III, с. 136.

108. Зиновьев. Сочинения, т. 7, ч. 1, с. 511.

109. См. Antony Trawick Bouscaren. Soviet Foreign Policy. A Pattern of Persistence. — USA, 1962, p. 17.

110. ДВП, т. 1, сс. 208—209.

111. Цит. по кн.: G. Kenan. Russia and the West under Lenin and Stalin. 1961, p. 56.

112. Кенан, таким образом, ошибается, когда пишет, что советская нота по случайному стечению обстоятельств не дошла до президента Вильсона и осталась без ответа (см. там же, с. 57).



## Вступая в пятое десятилетие

Сорок лет — это уже почти целая жизнь не только для человека, но и для Дела, каким является журнал. Как и для человека, перебрадили в одном котле надежды, поиски, страхи юности, находки и ошибки, взлеты и падения молодости, перекипев в звонкий сплав, называемый опытом.

Журнал родился на исходе первого послевоенного года в Германии, только-только начинавшей приходить в себя от обморока национального военного поражения, национального стыда за смертейнейшие грехи перед другими народами, от невиданного в ее истории разрушения духа и экономики. Еще тлели реальные руины городов и деревень, напоминая, не давая забыть...

Но этот же тлен чужих пожарищ напоминал о своих, родных руинах и пожарищах несколькими миллионам бывших советских подданных, волею судьбы оказавшихся на чужой земле. Разве это можно назвать эмиграцией в сегодняшнем понимании? Это был ИСХОД, не в сорок четвертом или сорок третьем начавшийся, а еще в сорок первом, во всех этих бесчисленных и бессмысленных ”котлах” и ”окружениях”. В конце же войны уходили не гордые одиночки, не эксплуататорские сословия, не высокообразованный интеллигентский орден — уходило НАСЕЛЕНИЕ, уходило в буквальном смысле — пешком и за обозами, как еще и сегодня

уходят на утлых лодчонках вьетнамские или камбоджийские беженцы через гиблые южные моря. И в той толпе могли идти рядом вдова с шестью детьми, никому ничего не должная, и ректор какого-нибудь столичного университета, который годами вдальбивал в молодые головы "истины" вроде такой, что Маркс поставил Гегеля с головы на ноги... А не было ли все это тем почти уникальным явлением в русской истории, когда пропасть между народом и интеллигенцией, о которой так сокрушался Ленин, сократилась почти до нуля — когда и платоновский прототип мужика и "красный" профессор вдруг сходились на сермяжной правде солженицынского дворника: "Волкодав прав — людоед нет"?

Вот в этой обстановке и такими людьми начался в 1946 году выпуск "толстого" журнала "Грани". За плечами людей, его начинавших, стоял слишком большой, слишком большой опыт советской жизни: лагеря сталинские, голод Украины и Казахстана, ленинградская блокада, гитлеровские лагеря, плен, угоны. А у многих все это вместе. Плюс опыт жизни при "обыкновенном социализме". Среди первых авторов "Граней" почти не было профессионалов — перелистываешь первые номера и видишь простые бесхитростные рассказы, внешне неяркие стихи, в глубине которых скрыта горестная печаль, что нельзя вот все это было выразить раньше — "несоответствие героической эпохе" — тем, кто остался Там. Но наложить все это на советский литературный официоз — и сразу меркнет, тускнеет до цвета пепла героизм Павок Корчагиных, гайдаровских героинь в красных козынках, кожаных курток, "комсомольских богинь" с маузерами и т. д. и т. п.

Но любому журналу рано или поздно необходим

какой-то стержень, точка отсчета, общая идея — лучше все это выражается словом "позиция", "где мы стоим". Именно позицией определяется то, что называется — независимостью в высшем смысле слова, что и дает журналу силу выживания. Те, кто делали "Грани" знали, что без выработки своей позиции не называться им "независимым журналом". И они ее нашли, единственно правильную для их — но и сегодняшнего нашего — миропонимания, мироощущения: это позиция независимости через зависимость от России, повернутость к ней и только к ней. С этого-то момента уже никаким сиюминутным политическим магнитом нельзя было изменить эту направленность. За это стояние лицом к России и были "биты" не единожды. Прими "Грани" "зависимость" в сегодняшнем смысле, то есть следование политической конъюнктуре, очень вероятно, удобнее, комфортабельнее было бы журналу, да и про такую "зависимость" разговоров было бы куда меньше.

Вот и сегодня мы смотрим на страну, которая живет ожиданием перемен. Полоса эта чем-то напоминает ту, что была ровно тридцать лет назад. Но есть и существенное отличие. Умонастроение того времени отражало первое пробуждение от оцепенения сталинских лет и было окрашено больше в эмоциональные цвета, нежели рассудочные. Вопреки всем "железным законам" исторического материализма, именно этот безрассудный, казалось бы, прорыв человеческих чувств и чаяний стал стержнем дальнейшего развития. Тогда именно эти настроения определили те рубежи, на которые власти пришлось отходить. И она отходила, хотя и противясь каждому дальнейшему отступлению, а общественное сознание в самых разных фор-

мах и самыми различными методами стремилось достигнуть других — своих рубежей наступления.

Что происходит сейчас, еще трудно сказать. Действительно ли власть уступает рубежи, и что их, эти рубежи, определяет: настроения или "закон"? Подспудное ощущение отсюда таково, что еще жива в людях память о короткой "оттепели" и затем вдруг грянувших и затянувшихся "заморозках" — жива не только в обществе, но и на верхах. Общественность спешит высказаться, власть спешит выдвинуть одно следствие за другим вместо причин. Разве пьянство, коррупция, низкая производительность и т. п. — суть причины? Нет, они только следствия, "побочные эффекты" больной системы, да даже и не прямые. "Куль личности" был настолько близким к причине, что позволил Хрущеву "диалектически" подменить им причину. Сегодня же прямыми следствиями можно назвать, в первую очередь, Афганистан — вот что бы высветить им горящими буквами в небе! — а затем напомнить о задыхающемся от духовной астмы в горьковской ссылке Андрее Сахарове, да о лагерях, и тысячах и тысячах, страдающих за Слово, за Веру, за Свободу...

Сорок ли лет назад, сегодня ли, но все так же верны основы нашего журнала: способствовать выявлению духовных основ Завтра нашей страны, способствовать созданию свободной трибуны творческого общения, ибо в борьбе за духовное обновление страны литература несет свою огромную ответственность. В условиях несвободы — жесткой или "мягкой" — литература может и должна отдавать свои творческие силы раскрытию духовных, моральных и гражданских идеалов народа.

## Интервью с основателем журнала Е. Р. Романовым

— Евгений Романович, Вы стояли у истоков возникновения "Граней". Расскажите, пожалуйста, в каких условиях возник журнал? Какие цели ставили организаторы 40 лет назад?

— Журнал появился в условиях совсем особого мира. Представьте себе разрушенную Германию первых послевоенных месяцев. Несколько сот тысяч беженцев из Советской России, уцелевших от войны, немецких лагерей и репатриации в СССР. Или, как их тогда называла советская пропаганда, — "перемещенные лица". Сосредоточены они были, в основном, в беженских лагерях, лишь небольшая часть — на частных квартирах, в немецких семьях. Человеческая масса, отрезанная от всего мира, от какой-либо информации. Стремление узнать, что происходит в мире, — огромно. Во многих лагерях издают информационные листки, в Менхегофе, наиболее крупном беженском лагере, появился еженедельник "Посев". Странно, но факт: у людей, живущих под дамокловым мечом выдач, заметное стремление к литературному самовыражению. В одном лагере издают ротаторный сборничек стихов, в другом, в лагерном бюллетене, печатают какие-то рассказы и т. д. В Менхегофе, который тогда был как бы культурным центром для всех беженских лагерей в Германии, возникла идея создать литературно-художественный журнал.

---

Интервью брал и подготовил А. М. Югов.

Первые три номера были иного, большего, чем теперь, формата, с рисунками внутри. Тонкие, в 50—60 страниц. Это объяснялось и техническими трудностями: набор был ручной, а не линотипный. Так же, впрочем, как и лагерные номера "Посева".

Точно я уже не помню, но идея, кажется, исходила от С. С. Максимова. Он был молодым (23—24 года), энергичным, считал себя писателем, — потом он в этом убедил и других. Очень талантливый был человек, к сожалению, рано ушел из жизни. Он с первого курса литфака за анекдот попал в лагерь. Сидеть ему предстояло долго, но его выпустили по просьбе Николая Вирты, обращенной к Сталину. Сергей был братом жены Вирты. Но лагерь оставил след — блатные манеры и алкоголизм. К началу войны он жил в Смоленске, попал под немцев, потом поехал в Германию, после войны не захотел возвращаться.

Начинал он, как многие, со стихов, но вскоре перешел к прозе... Его "Денис Бушуев" в двух томах\* (второй том назывался "Бунт Дениса Бушуева") вышел в Чеховском издательстве. Там же вышла книга его лагерных рассказов "Голубое молчание". Его книги были очень популярны в пятидесятых-шестидесятых годах. Умер он в США в 1967 году.

Б. В. Прянишников отвечал за политическо-публицистическую часть журнала. Я же вошел... ну, во-первых, потому, что это меня интересовало, я и название журнала придумал. А во-вторых, как бы официально: я заведовал культурно-просветительным отделом лагеря, по советскому

---

\* Первый том был полностью опубликован в сдвоенном 6—7 номере "Граней".

образцу — ”министерством культуры”... В первую редколлегию вошли еще и художники — Мишаткин и Крутько, так как журнал иллюстрировался.

В лагере Менхегоф вышли три номера. Затем лагерь был подвергнут политическому давлению. Дружно старались и унрровская\* и советская миссии. Советские репатриационные миссии как волки бродили вокруг лагеря Менхегоф, как чуяли что там рождалось. Сначала запретили все издания на территории лагеря, в первую очередь, конечно, ”Посев”. Затем вообще запретили издательскую деятельность без разрешения военных властей. А потом лагерь начали ”чистить”, изгонять ”анти-советские элементы”. И в начале 1947 года многих расселили по разным городишкам Германии.

Постепенно удалось снова все наладить. Мы получили лицензию от американских военных властей на издание ”Посева” и стали искать типографию. Преодолев ряд трудностей, нашли ее в Лимбурге, по рекомендации Хуго Штенцеля, христианского демократа, тогдашнего издателя-редактора газеты ”Франкфурт нойе пресе”.

В мае 1947 года мы возобновили выпуск ”Посева”, а потом и ”Граней”. В двух маленьких комнатках при типографии было тогда все наше издательство и оба журнала.

К счастью, мы сделали правильный шаг и сразу же стали сотрудничать с хозяином типографии на коммерческой основе, хотя могли издавать журнал как бы в счет репараций, так как имели американскую лицензию. Хозяин типографии Вольф-

---

\* УНРРА — организация, опекавшая материально и юридически так наз. ”перемещенных лиц”. Многие работники УНРРА по наивности были настроены просоветски. Но и агенты случались.

ганг Шмидт, христианский демократ, стал нашим другом. Впоследствии, когда у нас, после денежной реформы, не было денег, он целый год печатал "Посев" в долг.

Надо пояснить тогдашнюю нашу ситуацию. До денежной реформы 1948 года валютой были сигареты и кофе. У "перемещенных лиц" в лагерях этой "валюты", благодаря американскому снабжению, было в избытке. Покупатели наших изданий были богатыми. Но после реформы и выпуска новых денег кофе и сигареты перестали быть "валютой", их можно было купить в любом магазине по нормальной цене. А денег-то у "перемещенных лиц", живущих в лагерях, не было, поскольку они не работали. Так рухнула финансовая база всех русских (и других эмигрантских) изданий в Германии. К моменту денежной реформы НТС имел пять различных издательских точек в Германии. При создавшейся обстановке, приложив все усилия, можно было сохранить лишь одну — выбор тогдашнего руководства НТС пал на "Посев".

Лицензия была выдана на имя А. С. Светова, он был первым редактором "Информационного листка", предшественника "Посева". Но он вскоре уехал в Марокко, и лицензию переписали на имя В. Я. Горачека, который с тех пор был бесменным ответственным издателем, он оставался им и при всех последующих юридических изменениях. В пятидесятых годах, уже во Франкфурте, В. Горачек по нашей просьбе принял немецкое подданство, чтобы формально закрепить положение издательства "Посев" как немецкой фирмы на случай тех или иных политических сдвигов.

Вернемся к "Граням". С 4-го номера журнал "Грани" принял нынешний вид (немного большего формата), то есть традиционную форму рус-

ского "толстого" журнала. Он выходил нерегулярно, сначала из-за трудностей с бумагой, с набором, потом из-за материальных трудностей. Затем стало легче, мы приобрели линотип, линотиписты были квалифицированные, имевшие большой опыт на советских предприятиях. Поэтому "Посев" (он тогда был еженедельным) набирали быстро, а в остающееся время набирали "Грани", затем стали выпускать и книги.

До 1951 года, то есть до переезда во Франкфурт, я делал журнал один. До отъезда в США помогал еще С. Максимов. В то время, впрочем, и рабочая редакция "Посева" состояла только из редактора и секретаря.

— Видимо, первые годы "Посев" и "Грани" были очень тесно переплетены, а жанровое расхождение началось позже?

— Конечно, они были переплетены даже организационно. Людей было мало. Конечно, если, например, секретарем редакции в "Посеве" был Г. А. Рар, то он помогал и в "Гранях", если редактировать "Грани" с 1952 г. стал Л. Д. Ржевский, то он помогал и в "Посеве". И многие авторы были общие. Писателей в послевоенной волне эмиграции вообще было мало, больше публицисты. Я бы выделил двух прозаиков — С. Максимова и Л. Ржевского и двух поэтов Д. Кленовского и И. Елагина. К этой же эмиграции относятся печатавшиеся в "Гранях" — Г. Андреев, А. Землев, В. Свен, Б. Ширяев.

— Когда начался выход "редакционных интересов" за пределы Германии?

— Первые контакты с довоенными эмигрантскими литературными кругами начались уже после денежной реформы 1948 года в ФРГ. Тогда начались

и поездки за пределы Германии, в Париж. Хотя получить визу было очень трудно. Я впервые побывал в Париже в 1950 или 1951 году. Встречался тогда с Мельгуновым, Сургучевым, Зайцевым, Туроверовым и др. Тогда мы по сути дела впервые познакомились с "Вестником РСХД", "Новым журналом", "Возрождением". По части знания эмигрантской литературы, русских довоенных журналов мы ведь все были малограмотными. Да и откуда было знать?

У парижан контактов с границей, с Америкой было несравнимо больше. И культурный уровень авторов был намного выше. Меня там принимали как редактора "Посева", редактора "Граней" — это уже было понятие. Нас признавали, хотя и с известной долей снисходительности.

*-- С 1952 г. редактором "Граней" стал Л. Д. Ржевский. Как он пришел к вам?*

— Как я познакомился с Леонидом Денисовичем, я уже не помню, наверное, он прислал что-то, скорее, не прозу, а статью в "Посев". Он меня очень заинтересовал, мы списались, и я поехал к Ржевским в Баварию. Это была маленькая заснеженная станция. Жили они с Аглаей очень бедно, как все беженцы, особенно те, которых не поддерживали через лагерь. Мы им предложили работу в "Гранях", и где-то весной 1951 года Ржевские переехали в Лимбург. С 1952 г. Ржевский стал главным редактором "Граней" и пробыл им три года, затем переехал в Швецию на преподавательскую работу. В дальнейшем сотрудничал в журнале уже в качестве автора.

*— Откуда у вас в то время были средства — на издание журналов, на приглашения людей на рабо-*

*ту? Ведь подписчики, наверное, не покрывали всех расходов?*

— В начале пятидесятых годов мы исходили из нашего бюджета, который был не таким уж маленьким — по тогдашним немецким понятиям. Доллар в то время стоил по курсу 4,2 немецких марки. Продажа наших изданий вне Германии давала нам хорошую выручку. Члены НТС, которые к тому времени разъехались по разным странам, много делали для популяризации наших журналов, наши представители в разных странах были очень активны. Тираж "Посева", например, в те годы превышал 4.000. Число же работников, занятых в издательстве, было невелико, и зарплата их была невелика. Цены же в Германии были тогда низкими. С издательскими расходами мы вполне справлялись собственными силами. "Посев" и "Грани" были тогда практически единственными надтерриториальными журналами, остальные очень мало распространялись вне страны своего издания. Сеть распространителей наших журналов была реальной, члены Союза прилагали большие усилия, чтобы завербовать новых подписчиков. Один А. П. Тимофеев, например, по Скандинавии собрал свыше ста подписчиков. Он же тогда изобрел способ нелегальной переправки валюты — в газетах. (Это было до реформы, когда ввоз иностранной валюты в оккупированную Германию был запрещен.)

*— Получали ли вы на "Грани" государственные или общественные субсидии, типа того, как сейчас получают журналы российской эмиграции? И когда вы начали получать такие субсидии?*

— Издательство "Посев", журналы "Посев" и "Грани" в период своего становления ни от кого

субсидий не получали. Та субсидия, которую мы позже начали получать на "Грани" в Германии, находится в рамках общегосударственных субсидий в помощь различным культурным начинаниям эмиграций. Не только русской.

— "Грани" — детище исключительно послевоенной волны эмиграции. Но как они развивались в дальнейшем, когда коммуникации, связи между разными группами в разных странах стали налаживаться?

— Тут наступил следующий этап, который я связываю с именами Л. Д. Ржевского и уже Н. Б. Тарасовой, ставшей при нем секретарем редакции. Была она тогда молодой, полной сил и энтузиазма. Они начали этот этап, привлекая все лучшее, что оставалось от довоенной эмиграции, а также перебежчиков, число которых было немалым. Ведь послевоенная эмиграция — "вторая волна", как теперь говорят, — прозаиков дала очень мало. Такие вещи, как "Берлинский Кремль" Климова или "Завоеватели белых пятен" Розанова — это скорее воспоминания, мемуарная литература. Поэтов "вторая волна" дала больше.

Задача была привлечь лучшее из оставшихся писателей из первой эмиграции. С этой целью и Л. Д. и Н. Б. ездили в Париж, познакомились с теми, кто еще был в живых. И им удалось получить и опубликовать, что еще было возможно. Так на страницах "Граней" появились "под занавес" имена Бунина, Зайцева, Тэффи, Ремизова, Сургучева. И, конечно, поэтов "парижской школы" — Нарциссова, Терапиано, Рафальского. Тут стоит напомнить, что Ю. Терапиано проделал для "Граней" исключительную работу — составил сборник "Муза диаспоры" — избранные стихотворения

зарубежных поэтов 1920—1960, включающий стихи 70-ти поэтов. Эта подборка была полностью опубликована в № 44 "Граней", потом издана отдельным сборником и стала сейчас библиографической редкостью. Эти парижские контакты отразились и на публицистике.

Так что "Грани" сыграли определенную роль в деле слияния культур — очень высокой культуры дореволюционной — первой эмиграции — и гораздо менее высокой (что естественно, учитывая все обстоятельства) пореволюционной — второй эмиграции.

Постепенно, однако, этот источник русской культуры начал иссякать. Было очевидно, что нужно искать новые пути. Кроме того, в духе всей организации НТС, поиск все больше направлялся на Россию, в метрополию — поиск и писателя, и читателя. Здесь речь идет уже, примерно, о второй половине пятидесятых годов...

— *Когда Вы опять стали главным редактором? 1955—61 гг.?*

— Да. Тут мы занялись двумя вещами. Во-первых, поисками всего живого, что было тогда в советской литературе, в публицистике. Этим очень успешно и с большим чутьем занималась Наталья Борисовна. Это совпало как раз с "оттепелью". Началась эпоха "Нового мира", с которым мы в какой-то мере конкурировали.

-- *В чем заключалась эта конкуренция?*

— Мы считали, что те рамки, которые Твардовский сумел отстоять, (они достигли апогея с публикацией солженицынского "Ивана Денисовича"), те надежды, которые были связаны с этим, непрочны. И они не приведут к кардинальному изменению

режима. Фактически, мы придавали литературе большее революционное значение, имея перед глазами "Клуб Петефи" в Венгрии 1956 года. Такое отношение к литературе, кстати, нашло отражение и на страницах "Феникса" в стихах молодых поэтов. Как это там? "Нет, не нам разряжать пистолеты / В середину зеленых колонн, / Мы для этого слишком поэты, / А противник наш слишком силен... / Нет, не нам поднимать пистолеты! / Но для самых ответственных дат / Создавала эпоха поэтов, / А они создавали солдат" (Н. Нор, "Грани", № 52).

Вообще вся атмосфера того времени была насыщена стремлением к радикальности, было убеждение в том, что Венгерская революция привела бы к короткой и быстрой победе народа, если бы не вмешались советские танки, и высоко оценивалась роль рабочих в этой революции.

Это то, что отразилось и на настроениях в Советском Союзе. Деятельность же Твардовского была направлена на расширение возможностей при сохранении существующего порядка. Дело даже не в самом Твардовском, заслуги которого перед русской литературой и обществом неоспоримы. Дело в том "новомирском духе", в той иллюзии, которая распространялась — вот открывается путь к высвобождению. Отсюда и "уважайте собственную конституцию" родилось. Между тем, власть гебистскими сапогами начала топтать эти иллюзии, растоптав заодно и Твардовского. Да и не его одного. Это, повторяю, не уменьшает его заслуг, но мы обязаны были идти дальше.

Тогда же как раз была эта моя статья, которую Соболев цитировал, выступая перед московскими писателями, — "Подвиг молчания". Она появилась в "Посеве" и была связана с литературными процессами. Это был призыв к советским литераторам

по меньшей мере не лгать, печататься в обход цензуры. Тогда же в "Гранях" была публикация стихов Пастернака из "Доктора Живаго". Одновременно мы начали издавать "Письма "Граней", которые методом "Стрелы" (то есть по обычной почте) посылали по адресам советских писателей. Эти письма имели довольно большой отклик. В "Гранях" появилась даже рубрика "Отклики из Советского Союза", частично это были отклики на эти письма — официальные отклики писателей и неофициальные отклики... Это был период тесной связи журнала с внутрисоветскими литературными и окололитературными процессами. Эта связь в последующие годы ни в коей мере не прекратилась, но приняла другие формы — личных контактов, личных связей. Известность журнала и издательства достигла к этим годам такого уровня, что это стало возможным. Уже в стране начала проявляться инициатива пересылки в журнал рукописей, статей, сборников и пр.

— *В эти годы и возникло явление Тамиздата?*

— Да, мы говорим сейчас уже о начале шестидесятих годов. Если не считать Пастернака, — "Доктор Живаго" и события вокруг романа были исключительным явлением, он сам передал рукопись итальянскому издательству Фельтринелли, — то фактически Тамиздат начался с Нарицы, Есенина-Вольпина и Тарсиса. Пастернак был бесспорной фигурой, о нем все знали. Существование же Нарицы и Тарсиса вообще отрицалось, "Грани" и "Посев" обвиняли в том, что мы выдумали этих людей. Но к середине шестидесятих годов уже всем стало ясно, что в Советском Союзе есть литераторы, которые готовы публиковаться за рубежом под своим именем.

Конечно, почва для этого была подготовлена в России, прежде всего, молодежью. Но "Грани" открыли свои страницы для таких публикаций, как "Синтаксис", созданный Александром Гинзбургом, "Феникс", созданный Юрием Галансковым, затем "Сфинксы", "Русское слово" и др. Напомню еще "Манифест СМОГ". Новое поколение выходило на сцену. Со своими взглядами на жизнь. Идущее другим путем, чем Евтушенко и "оттепельное" течение. Галансков, Гинзбург, смогисты открывали путь в будущее, платили дорого, но не шли на "оттепельные" компромиссы.

Я считаю важнейшей заслугой "Граней", что они уловили значение этого движения молодежи и, при оперативной помощи НТС, сделали все, чтобы эта молодежь, это движение через "Грани" себя выразило.

*— Как воспринимался в толще эмиграции, в кругах западной общественности ваш "поход в Россию", связанный, естественно, с нелегальными формами?*

— Сами действия, поскольку они были не очень известны, особенно не обсуждались. Но последствия их обсуждались и вызывали в известной части эмиграции и иностранного мира обвинения в том, что мы, печатая произведения под именами авторов, вообще называя имена, подводим людей. Выдвинутый нами тезис — "Гласность — лучшая защита" — вызывал довольно сильные критические замечания в наш адрес.

Мы, конечно, предпринимали какие-то меры защиты. "Грани" в те годы выступали не только как журнал, но и в роли осветителя, что ли, судебных процессов, происходивших в СССР над писателями. Скажем, когда прошел суд над Синявским и Да-

низлем и появилась "Белая книга" об этом процессе, то именно "Грани" устроили пресс-конференцию в Париже, на которой была предъявлена эта "Белая книга". Правда, она была своевременно защищена копирайтом во французском издательстве "Табль ронд". Поэтому когда происходил процесс над Галансковым, Гинзбургом и др., адвокаты использовали для обоснования защиты то обстоятельство, что это все появилось сначала во французском издательстве. "Грани" действовали вместе с обществом "Ар э прогрэ", созданным по инициативе НТС в Париже. Основной функцией этого общества была мобилизация западного общественного мнения в защиту преследуемых в Советском Союзе деятелей литературы и искусства. В частности, от имени "Ар э прогрэ" была впервые выдвинута кандидатура Солженицына на Нобелевскую премию по литературе (что поначалу тоже подверглось критике).

Процесс укрепления связи и личных контактов с советскими литераторами (так, много посылались приглашений на различные конференции, активно пропагандировался прием преследуемых и находящихся в заключении писателей в члены ПЕН-клуба) фактически продолжался многие годы, пока не начался выезд (или высылка) писателей из страны, да и после этого.

— *Какие известные произведения советских писателей впервые увидели свет в "Гранях"?*

— Ну, например, первая публикация "Собачьего сердца" Булгакова была в "Гранях" (№ 69), первая часть "Ивана Чонкина" Войновича, "Все течет" Гроссмана, третья и четвертая части "Семи дней творения" В. Максимова, "Четвертая проза" Мандель-

штама, "Фотограф Жора" Окуджавы, "Котлован" Платонова, "Крохотки" Солженицына, глава из "Ракового корпуса", "Гадкие лебеди" Стругацких, рассказы Шаламова, "Реквием" Ахматовой, стихи из "Доктора Живаго" Пастернака, стихи Коржавина, Бродского, Горбаневской, Окуджавы, Галича, Ратушинской, тетрадь стихов из России (№ 47), произведения Вл. Корнилова, Солоухина, Бородина, Владимова, Канделя...

— То есть можно сказать, что в шестидесяти-семидесятих годах публикация в "Гранях" неподцензурных произведений стала регулярной. Как протекал этот процесс? Было ли связано с неприятностями для авторов со стороны властей, были ли соответственно отречения, какие-то конфликты между авторами и журналом?

— Да, иногда авторы вынуждались к публичным отречениям, хотя это было редко. Всегда можно было сказать: вещь попала из Самиздата без моего ведома. Тем более, что порой так и бывало. Интересный случай произошел с Гладилиным. Мы напечатали его вещь, кажется, это был "Прогноз на завтра". Вышла она в издательстве отдельной книгой, в "Гранях" не было из нее отрывков. Но это неважно. У нас было письменное согласие Гладилина на публикацию, переданное через В. Е. Максимова. Оно было на имя Г. Е. Брудерера, который ведал тогда, через общество в Швейцарии, гонорарным фондом для авторов в Советском Союзе. Когда Гладилин напечатал свое возмущение "Посевом" за публикацию, кажется, в "Литературной газете", то Максимов спросил его: "Как же так? А ты не боишься, что они опубликуют твое письмо и доверенность?" Гладилин ответил: "Нет, они же порядочные люди, они не будут этого опублико-

вать!". Мы, действительно, и в этом, и в других случаях вели себя как порядочные люди...

— *Тогда же советских авторов стали активно переводить на иностранные языки?*

— Да, в семидесятых годах наступил уже новый этап самиздатовских публикаций. Интерес писателей был теперь не только в том, чтобы вещь увидела свет, но и в том, чтобы за нее можно было получить какие-то деньги, а это было связано в основном с иностранными переводами. В связи с этим, между прочим, уменьшилось поступление рукописей в Самиздат. Авторы хотели, чтобы их рукописи были защищены копирайтом от пиратских публикаций. Ну, и, конечно, какую-то роль сыграло отсутствие гласности, все эти слухи о каких-то миллионах, якобы заработанных Солженицыным, Максимовым и др. Эти слухи создавали преувеличенные представления о возможностях на Западе для советских писателей. Дело в том, что в самом начале семидесятых годов интерес у издателей к произведениям советских писателей, попадавших на Запад, был, действительно, очень велик...

— *"Посев" тогда был, можно сказать, монополистом на иностранные права?*

— Почти... Так ведь издательство "Посев" и сегодня фактически остается монополистом в этом деле, так как оно — единственное издательство, которое систематически занимается этой проблемой, развивает контакты с иностранными издательствами, распространяет проспекты, уже 25 лет участвует регулярно в Международных книжных ярмарках и т. п. Конечно, отдельные писатели сами занимаются продажей иностранных прав — через литературных агентов — в одной или в нескольких

странах. Другие русские издательства этим не занимаются. "Посев" берет 30% с иностранных гонораров, обычно иностранные издательства берут 50% за продажу иностранных прав, это ведь связано с целым рядом трудоемких хлопот и пр.

Да, так вот, в начале семидесятых годов была такая конъюнктура. И на этой конъюнктуре единственный, кто по-настоящему заработал, был В. Е. Максимов. Это были его "Семь дней творения". Отрывки были опубликованы сначала в журнале "Грани", а затем роман вышел в нашем издательстве отдельной книгой. На Франкфуртской книжной ярмарке вокруг этого романа был создан ажиотаж, цены на права в результате конкуренции стали подыматься, и в итоге мы получили от иностранных издательств очень большие суммы. Конечно, потом за другие вещи Максимова таких авансов мы получить не смогли. Роман "Семь дней творения" не пошел так, как рассчитывали иностранные издательства. Но главное — постепенно стал остывать интерес к писателям из Советского Союза. Кроме того, в иностранный рынок стал вклиняться ВААП, со своими "демпинговыми" ценами. В-третьих, сыграли роль и общая рецессия на Западе, и трудности в издательском деле. Обстановка на рынке иностранных переводов ухудшилась, стали меньше издавать переводную литературу, особенно с "экзотических" языков, из-за стоимости переводов, трудоемкости.

Кстати, здесь можно коснуться вопроса о публикации на страницах "Граней" переводов иностранных произведений. У нас было такое стремление, особенно когда начинали иссякать эмигрантские источники. Но тут есть большое препятствие — стоимость прав и стоимость переводов. Однако две ценнейших публикации мы все же сделали: Дж. Ор-

велл "1984" ("Грани" №№ 27, 28, 30, 31) и Жорж Бернанос "Записки сельского священника" ("Грани" №№ 39 и 40). В обоих случаях мы получили от авторов права бесплатно. Больше того, на издание "1984" отдельной книгой мы получили большую субсидию от вдовы Орвелла, согласно его предсмертному пожеланию. Труднейший перевод (в частности, "новояза") был сделан безвозмездно ныне покойным проф. Н. Е. Андреевым (Кембридж) и Н. С. Витовым (Монтерей). Перевод Ж. Бернаноса был сделан поэтессой Екатериной Таубер.

В те годы мы очень много занимались продажей иностранных прав, и дело здесь не только в финансовой стороне. Это сильно популяризовало имена, и в целом неподцензурную литературу как явление. Конечно, это популяризовало и журнал, так как многие произведения публиковались сначала в "Гранях", а уже затем — отдельным изданием.

В середине семидесятых годов роль "Граней" в публичной защите советских авторов упала — по разным причинам. Главным образом, в связи с начавшейся эмиграцией. На Западе стали появляться различные "специализированные" организации и общества, борющиеся за права человека в тоталитарных странах, в том числе и за права преследуемых писателей.

*— В какой мере на "Гранях" отразился процесс выезда многих, или, скажем, даже почти всех советских писателей, активно печатавшихся за рубежом до своего выезда? Создало ли это кризисную ситуацию в журнале, учитывая его нацеленность на авторов внутри страны?*

— В известной мере. Однако еще в 1980—1982 гг. в "Гранях" опубликованы такие произведения

как "Третья правда" и "Гологор" Л. Бородина, "Шестой солдат" и "Не обращайтесь внимания, маэстро", Г. Владимирова, "Ловушка" Л. Тимофеева, "Каменщик, каменщик..." Вл. Корнилова, "Колокол" и "Первое поручение" Вл. Солоухина, "Тоска по Армении" Ю. Карабчиевского, поэма "Семеро" Виктора Сосноры, стихи Ирины Ратушинской. Были материалы из России и в других отделах.

Но в 1983—85 гг. из номера в номер количество материалов из России уменьшалось. Это связано, однако, не только с выездом авторов — из перечисленных выше лишь один Г. Владимов попал в эмиграцию. И не только с арестами. Проблема глубже. Но мы к ней еще вернемся.

Что касается авторов, ранее печатавшихся в "Гранях", а после выезда (или даже до него) начавших публиковать свои произведения в других журналах, то это нормальный процесс в эмиграции, где существует сейчас много разных журналов, есть выбор. Материальная сторона дела тоже играет роль: до недавнего времени "Грани" платили гонорар в размере трех марок за страницу.

Следует еще отметить, что некоторые, особенно молодые писатели ищут выхода в иностранную среду, даже пытаются приспособливаться к ней в ущерб своим творческим возможностям.

— В своем "Необходимом объяснении" Г. Владимов приводит отрывок из письма Н. Б. Тарасовой. Оставляя за этическими скобками вопрос, как можно публиковать частное письмо без согласия на то его владельцев, неизвестно, к тому же, как попавшее в руки публикующего, хочется спросить вот что: из письма Тарасовой вытекает, что в последние годы ее многолетнего редакторства между нею и руководством НТС были конфликты. Связаны ли они с кризисом в развитии журнала?

— Наталия Борисовна Тарасова редактировала "Грани" двадцать лет, а до этого десять лет работала в редакции. "Грани" связаны с ее именем больше, чем с любым другим. Период расцвета "Граней", важнейший этап развития журнала — это время ее редакторской работы. Ее замечательная статья "Век крушения вер..." ("Грани" № 52, ставший уже через год-два библиографической редкостью, там же появились "Синяя муха" В. Тарсиса и "Феникс № 1) — это 1962 год — предопределяла окончательный поворот журнала на Россию.

Никаких конфликтов между Наталией Борисовной и "руководством НТС" не было. Руководство организации никогда не вмешивалось в дела журнала.

Я активно участвовал в делах редакции, но не от "руководства НТС", а потому, что меня лично интересовало развитие и судьба журнала, в который я вложил много душевных сил. Мы с Наталией Борисовной проработали вместе 30 лет, мы были очень дружны, но нередко бывали у нас и конфликты по делам журнала. Это не подрывало наших отношений, которых чужому человеку вообще не понять.

В последние годы Наталия Борисовна плохо себя чувствовала, болела. Но это была только одна из причин трудностей с журналом. Публицистическая, политическая часть журнала очень ослабла из-за ухода многих старых авторов "Граней" в иной мир. Уменьшение притока произведений из Советского Союза стало отражаться на журнале. Возникло ощущение, что нужно что-то предпринимать организационно. Это вылилось в предложение дать Н. Б. заместителя в лице Н. Н. Рутченко. Он должен был отвечать за публицистическую часть, где предполагалось, по его концепции, увели-

чить исторический раздел журнала, и т. д. Они сделали вместе один или два номера. Вообще это, наверное, была плохая идея. Он живет в Париже, она — во Франкфурте, он работает быстро, она — медленно, ну и т. д. Вот такого рода трудности привели ее к отказу от редакторства.

— *Не секрет, что Н. Б. Тарасова тогда работала почти одна. Финансовые условия были тяжелыми, не такими, как в других журналах. Н. Б. приходилось подрабатывать перепечатками на машинке и пр. Может быть, прежде чем искать новых редакторов, стоило бы больше помочь старым?*

— В привлечении Н. Н. Рутченко заместителем и виделась помощь Н. Б. Она и не возражала против этого. К сожалению, это не получилось в чисто рабочем плане. Материальные же условия от того, что начал работать Н. Н. Рутченко, ни в какую сторону не изменились. Он вообще не получал никакой ставки, ему лишь компенсировались расходы, связанные с приездом во Франкфурт, телефонными звонками и пр. Материальное положение редакции не изменилось. Конечно, с гонорарами в 3 немецких марки за страницу работать трудно, но таковы были наши условия. С гонорарным уровнем ряда сегодняшних эмигрантских журналов, действительно, никакого сравнения...

Разговор с Н. Б. Тарасовой о смене на посту редактора был и не один раз. Н. Б. говорила, что если появится человек, которому можно доверить журнал, то она готова ему передать редакторство, помогая лишь по мере сил. Необходимость смены она понимала совершенно отчетливо, не только из-за своего физического состояния, но и в силу самого принципа необходимости.

— Речь идет о принципе необходимости смены на известного, популярного, скажем, писателя, выехавшего из СССР?

— Не на всякого, разумеется. Дело в том, что эта идея существовала у нас давно. Когда появился на Западе Максимов, мы сделали такое предложение ему. Он сходу от него отказался. Разумно вполне поступил. Исходя из этого опыта, мы больше ни к кому с таким предложением не обращались, а начали искать редактора в Москве. Мы всегда стремились иметь там как бы редакционных представителей, здесь была преемственность устремлений.

— Как Вы оцениваете "исторический" период "Граней", то есть 1982—1984 гг., когда редакторами были Р. Н. Редлих и Н. Н. Рутченко?

— После ухода Н. Б. Тарасовой в 1982 г. делать журнал фактически стал Н. Н. Рутченко. "Исторический крен", который тогда произошел в журнале, в общем-то не был случайным. В замысле перестройки лежала цель больше публиковать материалов, способствующих восстановлению "исторической памяти". Этот тезис был также включен в издательский план издательства в целом. Но, конечно, журнал был перегружен такого рода материалом, в частности, потому, что выпала почти полностью литература. Н. Н. Рутченко и не брался за литературную часть журнала, он соглашался лишь быть заместителем и руководить публицистическим отделом. Но в целом такое нестандартное направление журнала очень многие приветствовали. Конечно, это не могло продолжаться долго, хотя бы уж из-за отсутствия равноценного, качественного истори-

ческого материала. "Грани" не могли превратиться в "исторический вестник". Нужны были какие-то усилия по перестройке редакции, поиски главного редактора по-прежнему были актуальны. Новый редактор должен был вернуть журналу его многосторонность, журнал должен был соответствовать своему названию.

— *И следующим редактором журнала стал писатель Г. Н. Владимов. Когда состоялось знакомство Владимова с "Гранями" и как оно развивалось?*

— Я уже говорил, что наши поиски редакционных представителей в Москве начались давно. А знакомство с Владимовым началось до известной степени случайно: у него завязалась переписка с А. Н. Артемовой, работавшей тогда в Немецкой библиотеке (главная архивная библиотека ФРГ). Потом мы начали постепенно вводить "закрытую линию", то есть посылать людей с письмами и литературой. Владимов в принципе согласился искать материалы для "Граней" в Советском Союзе. Тогда мы ввели для безопасности псевдоним, и писали для него в этом качестве, как бы для передачи этому псевдониму. Мы посылали ему также фотоконии наиболее интересных материалов, имевшихся в портфеле редакции, — на отзыв. Нам Владимов в свою очередь пересылал некоторые материалы.

Но это не было то, на что мы рассчитывали. Нам казалось, что писатель с его именем и авторитетом должен был бы быть окружен гораздо большим количеством молодых авторов. Но тогда мы не придали значения этому факту, понимая, что это не так просто, иногда излишнее доверие к молодому автору может подвести (например, известный случай с Козловским, и пр.) Сейчас, глядя ретроспективно, я думаю, что это не случайно, и наши представ-

ления о его связях, писательском окружении и т. д. были ошибочными.

Но в смысле взглядов, подхода к литературе, к литературному журналу за рубежом и его роли в стране, — в этом смысле была очень большая близость. Я эту переписку читал, и открытую, и закрытую — это ведь целое досье, все-таки почти 13 лет! И Владимов был готов к предложению перенять редакторство, потому что были намеки и в письмах, и устные.

— *Может быть, все-таки лучше было настоять, чтобы Владимов по приезде сюда больше осмотрелся, поездил, повстречался со своими товарищами по Москве, а лишь затем принял решение?*

— Мы никак его не торопили. И не изолировали от внешнего мира, как он теперь пишет. Это все выдумки. Владимовы прилетели в конце мая, а работать редактором он начал в конце года. У него было предложение работать на "Свободе", которое он отклонил. За эти месяцы Владимовы ездили в Париж, Лондон и могли достаточно осмотреться. Твердое решение принять журнал у него, видимо, было еще в Москве.

— *Владимов говорит о трех условиях, трех принципах, на которых должен стоять журнал. Эти условия он принял...*

— Да, три условия были, но не совсем те. У меня есть запись нашей беседы, и по ней хорошо видно, о каких пунктах идет речь. Первое. Журнал — для России, для русских авторов и русских читателей прежде всего, то есть для авторов и читателей в Советском Союзе. Второе. Журнал по своей направленности должен оставаться в рамках российской национальной традиции, то есть в том духе, в каком

он всегда и развивался, без крена в проблемы Запада, Восточной Европы и т. д. Это вполне совпадало с его изложением концепции о "русской партии". Третье. Мы не вмешиваемся ни в какие эмигрантские склоки, споры и т. п. Никакого разговора о том, чтобы не атаковать НТС, вообще не было — о чем тут было говорить? Смешно: человек переживает редакторство нашим журналом, готовится работать с нами бок о бок, в тесном контакте, — так надо еще ставить такое условие?! Такая мысль и в голову никому не могла прийти, как же мог быть такой пункт? Также никакого пункта о русофобии и юдофобии не было, это он тоже выдумал. Это тоже было самоочевидно.

— *В чем Вы видите главные причины конфликта? Можно ли говорить о принципиальных политических расхождениях?*

— Отказ от сотрудничества с Владимовым никак не объясняется политическими расхождениями. И попытки представить дело именно таким образом не соответствуют действительности. Никакого политического конфликта с ним как с редактором "Грани" не было. И это видно, если сопоставить указанные три пункта с содержанием последних десяти номеров. Можно говорить об отдельных мелочах и о некотором эмигрантском крене. Но упущения есть в любом журнале, и у Владимова их было не больше, чем у других, скорее даже меньше. Расхождений же, в свете согласованных принципов, не было. Поэтому "коллективное письмо" с протестом против отстранения Владимова на основе якобы "политической нелояльности" просто бьет мимо цели, оно не имеет никакого отношения к существу дела.

Невозможность продолжать сотрудничество ле-

жала в чисто человеческом плане, в рабочем плане. Из месяца в месяц возникали и усиливались враждебные отношения — к одним, другим, пятым, двадцатым. К концу буквально не осталось людей, с которыми они могли поддерживать отношения — все стало плохими. А ведь речь идет о коллективе в несколько десятков человек.

Они создали атмосферу враждебности и отчуждения, которая лишила практическую работу всякой базы, сделала ее невозможной.

— А Вы не находите, что концепция руководства НТС вообще была ошибочной? Вы стремились передать редакторство в руки известного писателя, чтобы поднять престиж "Граней", особенно среди читателей в стране. Но у известного писателя свои намерения, он хочет и редактором стать всемирно известным, не меньше, чем Твардовский. А к чему это толкает? Поменьше преимущества, побольше перемен. Вы делаете упор на существительное — "журнал", а он на прилагательное — "мой". Посмотрите, сколько редакторов было у "Посева", но разве кто-либо из них говорил "мой журнал"? Да и предыдущие редакторы "Граней" не говорили. Или Н. А. Струве, который вот уже 20 лет практически в одиночку делает "Вестник РХД" и имеет, казалось бы, моральное право говорить "мой журнал", так не говорит. Наш журнал! Потому что он себя ощущает не писателем-индивидуалистом, а редактором, тесно связанным с товарищами по движению.

Так, может быть, зерно конфликта лежало уже в ошибочной концепции?

— Может быть. Хотя согласиться, как с неизбежностью, с тем, что известный писатель нуждается в дополнительном самоутверждении, не могу.

Такой подход к редакторству, о котором Вы говорите, и есть стремление к самоутверждению. Почему известный писатель должен быть обязательно неколлегиальным, эгоцентричным, самоуверенным, знающим все лучше всех редактором? Подходить к журналу не как к результату коллективного труда, а как к своей семейной вотчине? Я полагаю, что известные писатели не должны непременно обладать такими чертами.

Конфликт я вижу скорее в другом — собственное творчество и редакторские обязанности, также требующие творческих усилий, могут мешать друг другу.

— *Поток материалов из страны в последние годы сильно обмелел. Здесь, наверное, ряд причин, но это объективный факт, независимый от стараний тех или иных редакторов. И это факт существенный для всех журналов эмиграции, не только для "Граней". Однако для "Граней", с их нацеленностью на читателя внутрироссийского, этот факт особенно болезнен. Как Вы видите в связи с этим будущее журнала?*

— Если говорить о писателях, то кризис, действительно, налицо. Одни авторы уехали из страны. Другие сидят — в лагерях, тюрьмах. Третьи печатаются в рамках послаблений, не очень кривя душой при этом, особенно, если они пишут на "допустимые" темы. Четвертые ждут — ждут изменений, которые могут повести к расширению рамок творческой свободы. Поэтому рассчитывать в ближайшем будущем на получение из России литературных произведений художественно значительных не приходится. Положение действительно трудное, трудное не только для литературно-художествен-

ного журнала, но и для издательства, ориентирующегося на произведения писателей, живущих в России.

— Но если это так, то, может быть, посчитать, что "Грани" свою задачу выполнили, и прекратить дальнейшее издание? Для чего же тянуться, надрываться, может быть, лучше эти силы и средства бросить на "Посев", на распространение "Посева" в стране, на лучшее доведение его до "потребителя"?

— Да, это серьезная проблема. Очевидно, решение надо искать в большей гибкости. Не стоит, наверное, строго держаться за определение "литературно-художественный журнал". Если нет "большой", настоящей литературы, то печатать эрзацы, лишь бы они подходили по жанру, не стоит. Но есть достаточно материалов другого рода — мемуарные произведения, причем не только исторические, очерки, публицистика. Возможно, какое-то время будет крен в эту сторону. Нужно усилить отдел библиографии, постараться сделать его для читателя в России компасом среди того множества книг, которое появляется на русском языке в эмиграции. И обратить больше свой взгляд на публикующееся в России, как мы это делали во второй половине пятидесятых годов. Следить за творческим процессом в стране — это сегодня одна из наиболее важных задач журнала. В частности, я думаю, что здесь открывается перспектива, из-за которой стоит, во всяком случае в обозримом будущем, продолжать издавать журнал.

Наступит ли то время, которого ждут писатели, время, когда они смогут в советских условиях реализовать свои планы и опубликовать готовые рукописи? Или это время не наступит, а наоборот, цензура станет суровой? И тогда мы сможем это

реализовать? Задача журнала сейчас — это показать писателям в стране, писателям самых разных направлений и жанров, что мы существуем для них и что, если мы им понадобится, то мы — есть.

— *Какова же задача редактора в таких условиях?*

— Задача редактора журнала в этих условиях становится более трудной. На страницы журнала неизбежно попадают темы, которые мало волнуют читателей в нашей стране. Это объективная реальность: если основным источником наблюдений и переживаний становится эмиграция, то постепенно в значительной части произведений эмигрантских авторов начинает отражаться именно этот мир. Его психология. И они замыкаются на нем.

Трудность писателей-эмигрантов заключается именно в этой постепенно создающейся изоляции. Кто-то из этого замкнутого мира вырывается, но вырывается, как правило, в иностранную культуру, как это произошло с Набоковым, Волковым и др. Публицистам (философам, социологам) — им еще легче выйти в иностранный мир, если их проблематика представляет интерес для него. Да и языковые барьеры менее трудные.

Поэтому существование журнала с такой целепостановкой, как у "Граней", чрезвычайно затруднено, если обрывается контакт с метрополией. Живая связь со страной необходима.

Задача нового редактора вести журнал в этой обстановке — очень трудная. Но мы исходим из того, что эта обстановка временная и в обозримом будущем она непременно изменится.



## **Жизнь и судьба Василия Гроссмана**

В паноптикуме нашей новейшей литературы творческая судьба Василия Гроссмана все-таки уникальна. Его, выросшая в соцреалистической методике, проза — вырвалась из нее настолько, что два основных произведения писателя считаются в СССР к р и м и н а л о м, и, в этом смысле, имеют мало аналогов.

... В самом деле, "Раковый корпус", например, уже был в наборе, и все — редактор, общественность, автор не исключали возможности его опубликования. Сейчас доходят слухи, что в Москве издадут, наконец, "Доктора Живаго". Мы заведомо предполагаем "паровозное" предисловие, мизерный тираж, но все же надеемся, что когда-нибудь напечатают.

Но невозможно представить себе советское общество (в любой его "вариации"), где будут без купюр изданы "Все течет" и "Жизнь и судьба".

А между тем, сам Гроссман, как ни в чем не бывало, сдал свою феноменальную эпопею в "Знамя" номенклатурному агенту Кожевникову.

...Уже здесь, на Западе, лишь через двадцать лет опубликованный роман "Жизнь и судьба" стал в нашей среде не столько предметом восхищения писательским подвигом Василия Гроссмана, сколько поводом для поверхностной полемики, заведомо занижающей его большую полифонию.

Соответственно смутен и сам образ писателя, правда, воспоминания Б. Ямпольского ("Континент" № 8) хоть и кратки, но проникновенны.

Книга о Гроссмане С. И. Липкина — дает нам его яркий и сильный образ, вычерченный с умом и любовью. Просто

---

Семен Л и п к и н. Сталинград Василия Гроссмана. — Анн Арбор/США: Ардис, 1986.

(а потому вдвойне великолепно) написанные воспоминания Липкина — событие в нашей культуре значительное, как, впрочем, и все, что выходит из-под пера этого большого поэта.

Не будучи эгоцентриком, Липкин особенно бережно показывает нам срез времени и — сознания как своего близкого друга Гроссмана, так и некоторых других современников (Заболоцкого, Цветаевой и др.), с которыми сводила мемуариста судьба. Он любит и принимает человека в его кровной органике, но явно ценит в людях дух и моральность, мораль — не коммунистическую, а человеческую. ...Из воспоминаний Липкина мы впервые, кажется, узнаем о близкой дружбе Гроссмана с Андреем Платоновым — о крупном в них и о трогательных житейских вычках.

“Оба, — вспоминает поэт, — и Гроссман, и Платонов не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба они исповедовали материалистическую философию, но Гроссман до определенного времени считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению философа Федорова”. (Заметим в скобках, что сам Федоров не сомневался в ортодоксальности своего православия.)

Но несмотря на вышесказанное, и Платонов, и Гроссман предстают в воспоминаниях Липкина осветленными той высшею добродетелью, которая характерна для праведников.

Правда, в те годы власть глядела на них по-разному. Гроссмана поощряли (один из его военных очерков Сталин лично распорядился перепечатать из “Красной Звезды” — в “Правде”), на полях платоновского “Котлована” тот же Сталин, по словам Липкина, написал коротко: “свобода”.

...“Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына, когда в каком-то безумии целовал его в губы), — пишет Липкин, — Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюще светящейся долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель. Смерть Платонова потрясла Гроссмана / ... /.”

Липкин познакомился с Гроссманом еще до войны,

позже они встретились в Сталинграде. Романист был захвачен атмосферой войны, верил, что победа над Гитлером принесет и России освобождение. Как он тогда представлял его? Очевидно, как свободу от Сталина, но в рамках социализма. Более глубокое понимание пришло позднее. Ждановщина и "борьба с космополитизмом" открыли Гроссману глаза на самую природу режима. Именно это новое углубленное миропонимание и вложил писатель в свой великолепный роман "Жизнь и судьба". Интернациональный социализм и национал-социализм Гитлера для Гроссмана — зеркальные отражения. Такое историческое постижение в пятидесятые годы несомненно было новаторским. И оно же — с очевидностью выводило Гроссмана за рамки не только советской литературы, но и тоталитарного общества (чего сам Гроссман, сдастся, так до конца и не понимал).

Липкин был одним из первых, кто прочитал в рукописи "Жизнь и судьба".

"Не сразу понял я, читая книгу, что иной связью, куда более сложной, чем я думал раньше, связаны жизнь и судьба. Эта связь непостижима нашему разуму. Судьбу не изменишь, ее рождает жизнь, а жизнь есть Бог /.../. Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла".

Этот вывод Липкина из углубленного прочтения гроссмановского романа на первый взгляд выглядит неожиданным. Ведь на всем пространстве эпопеи практически не выведено верующих людей, есть лишь несколько антиклерикальных клише, Бог и Вера — явно вне гроссмановского пера. И все-таки Липкин прав: вся многозначность и многосложность, вся, повторяю, полифония образов и сюжетов Гроссмана, сама, наконец, "библейская" эпичность повествования — позволяют вдумчивому читателю прийти к тому же выводу, что и Липкин: Бог в нас, Россия сильнее зла.

Все же сущность коммунистического феномена (об этом особенно свидетельствуют авторские отступления во "Все течет...") Гроссманом недоосмыслена: слишком навязчивы у него сопоставления и связи с традиционной русской историей. Чудовищная уникальность тоталитаризма неправомочно локализуется. Дореволюционная Россия подается через призму интеллигентского штампа.

И все-таки Липкин прав: "Гроссман прежде всего русский писатель. Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего. /.../ Еврейская трагедия была для Гроссмана частью общей трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей /.../. Он не был бы подлинным русским писателем, наследником нашей правдовызыскающей литературы, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности".

Эта пропитанность Василия Гроссмана российской культурой, нашей языковой и психологической стихией позволила писателю одним из первых оценить феноменальный дар Солженицына.

"Однажды он позвал меня к себе — вспоминает Липкин — и с ликованием неожиданным для меня дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером зэка. Я сел читать — и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких помятых страниц. Читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был солженицынский "Один день Ивана Денисовича". Гроссман говорил: "Ты понимаешь, вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый огромный талант. Кто у нас равен ему?"

...Понадобилась четверть века, чтобы арестованный гроссмановский роман был не только опубликован, но и переведен в Европе. Эмигрантская среда наша его и по сей день смехотворно недооценивает. Интеллектуальное омертвление, энтропия, потеря вкуса к чтению и духовной эстетике — очевидные спутники нового эмигранта (в этом смысле "Жизнь и судьба" разделяет судьбу солженицынского "Красного колеса", число глубоких читателей которого тоже позорно невелико).

И уж совсем недобросовестно тенденциозное противопоставление Гроссмана Солженицыну, недостойное творческих созданий и того и другого.

Но вот переведенный на французский роман "Жизнь и судьба" — стал в Европе событием.

"Когда я узнал об этом — пишет в конце своих воспоминаний о Гроссмане С. И. Липкин — сердце мое, больное мое

сердце забилося по-молодому и слезы в глазах загорелись не старческие, а молодые, счастливые. Неужели друг мой отсюда, из элизиума, не видит, не радуется вольной поступи своего детища? /.../ Такова сияющая многоцветным огнепадом победа Гроссмана над духовно поверженным дьяволом, победа свободы”.

*Ю. Кублановский*

## Скульптор духовного синтеза

*Неизвестный — природный монументалист. Он думает, видит и творит в больших масштабах.*

*Джон Рассель, "Нью-Йорк таймс"*

Вышедшая недавно в английском переводе книга Эрика Эгеланда "Эрнст Неизвестный — жизнь и творчество" требует, мне кажется, другого подзаголовка, лучше определяющего сущность таланта этого большого современного скульптора. Ибо мало встречается людей, в которых человек и искусство так естественно, выпукло и наглядно переплетены между собою, создавая единое художественное целое. Поэтому "Жизнь и творчество" в качестве подзаголовка звучит слишком обыкновенно и как бы подводит какой-то итог. Неизвестный же находится в расцвете своих творческих сил и суммировать его достижения преждевременно.

Перебирая в уме всевозможные комбинации избитых определений, автор этих строк вернулся, в конце концов, к слову "изображение". Слишком часто оно употребляется нами в самом повседневном смысле — как имитативное

---

Mosaic Press, Oakville, New York, London 1985.

начертание предмета, как нечто визуально-познавательное. В более точном понимании, однако, оно означает нечто гораздо большее. Ведь в корне его — слово "образ", т. е. что-то значительное, обобщающее и символическое. (Как занижены многие некогда глубокие понятия в нашем современном языковом обиходе!) И в этом смысле Эрнст Неизвестный — создатель образов. Монография о нем могла бы быть озаглавлена — "Эрнст Неизвестный — изОБРАЗитель". Впрочем, все эти рассуждения — всего лишь попытки написать мое собственное предисловие к этой прекрасной книге, дающей исчерпывающее представление об Эрнсте Неизвестном — человеке и скульпторе.

Автор книги Эрик Эгеланд — книжный иллюстратор и портретист, получивший художественное образование в Осло и в Париже, автор многих книг по искусству, в настоящий момент — художественный критик крупнейшей норвежской газеты "Афтенпостен". Его интерес к творчеству и личности Эрнста Неизвестного возник много лет тому назад, и он потратил несчетное количество времени на исследования, подбор материалов и интервью с самим скульптором. Эрик Эгеланд признает, что книга английского критика Джона Бергера "Искусство и революция", посвященная творчеству Неизвестного, оказала влияние на данную работу. И не было бы смысла повторять уже написанное, если бы не появились добавочные материалы и не возникли иные аспекты, касающиеся жизни и творчества Эрнста Неизвестного. Но не только это.

"Главной причиной, побудившей меня взяться за эту книгу, — пишет Эрик Эгеланд, — было убеждение, ошибочное или справедливое, что в творчестве Неизвестного заключено что-то глубоко русское, а именно — человеческая жажда к универсальному, вселенскому представлению о мире и населяющих его людях, жажда, образно выраженная в его центральной работе "Древо Жизни". Это стремление к синтезу, исходящее из духовных переживаний и созерцаний, проходит через все творческое многообразие Эрнста Неизвестного. Мне кажется, что эта черта чрезвычайно актуальна именно в наше время, когда западные художественные круги захвачены идеей плюрализма и стараются найти свое место среди ампутированных философских и психологических концепций".

Эрик Эгеланд не ошибается. Теория познания мира,

изучение свойств и значений предметов никогда не увлекали русские художественные натуры. Наш извечный антропоцентризм всегда приводил нас к вопросу о назначении человека, о духовных задачах искусства. И хотя эти тенденции часто порождали "литературу" в искусстве, социально-обличительные и даже пропагандные течения, сами по себе эти устремления нельзя целиком осудить. Во многом они восходят к древнейшим истокам творчества. (Тот культурный шок, который испытывают многие русские художники, попадающие сейчас на Запад, заключается главным образом в том, что западное искусство никуда не зовет. Оно живет и познает себя, развивается, умирает и возрождается в иной форме, как некое дикое полу-растение-полу-животное, которое никому не служит. В этом его громадная, увлекающая сила, но и большая слабость. Русскому человеку этого состояния мало.)

Книгу свою Эрик Эгеланд начинает с описания "Древа Жизни" — главного скульптурного проекта Эрнста Неизвестного, плода многолетних творческих усилий, философских размышлений и духовных поисков скульптора. Монумент этот, по виду напоминающий и первоначально названный "Сердцем Человека", представляет собой своего рода гигантский храм. Он содержит в своей структуре все противоположные устремления человечества и объединяет их в живой, вечно меняющейся, "работающей" гармонии. Реалистические и абстрактные образы, женское и мужское начала, иудео-христианские и языческие символы, объединяющие Запад и Восток, кинетическая скульптура, световые эффекты и в центре — скульптура "Пророка", разрывающего и опустошающего свою грудь. Число семь органически присутствует в структуре монумента — семь корней, превращающихся в туннели, означают семь смертных грехов. Семь дорог (путей просвещения) ведут к центру. Семь спиралей-ярусов соответствуют гипотетической теории Августа Фердинанда Мебиуса (1790—1868) о строении мира. Потолки и полы прозрачны и весь монумент как бы не имеет ни внутренней, ни внешней стороны, выражая неразделимость материального и духовного миров.

Каким путем пришел Эрнст Неизвестный к этому грандиозному плану?

Ответ дает его жизнь. Эрик Эгеланд искусно переплетает биографические данные с эмоциональными и духовными переживаниями скульптора. Каждая страница текста сопро-

вождается репродукциями скульптур, живописи и графических работ. Перед читателем проходит интереснейшая панорама становления Эрнста Неизвестного как человека и как творческой индивидуальности. Эгеланд тщательно документирует детские годы скульптора, проведенные в Свердловске. Он описывает его родителей, интеллектуальную атмосферу в семье, касается даже происхождения самой фамилии и ее смысла по-русски. Указывает на детские интересы маленького Эрика (так назван был ребенок. Эрнст — имя, выбранное впоследствии самим художником), причем значительным моментом в его развитии считает участие ребенка в опытах над животными, которые тайно проводила дома мать, биохимик по образованию и сторонница запрещенных Сталиным генетических теорий. Принимая участие в запрещенных экспериментах, ребенок уже тогда приобщился "тайной науки".

Мать Неизвестного стала впоследствии успешным автором детских книг и поэтом. Литература, поэзия и философия были частью ежедневной жизни семьи Неизвестных. Говоря о дальнейшем развитии будущего скульптора, Эгеланд отмечает увлечение спортом, мечты о военных подвигах, идентификация себя с великими людьми прошлого — путешественниками, императорами, учеными, революционерами и мучениками. Все это, конечно, типично для большинства подрастающих мальчиков. Но героический период кончается обычно с выходом их в будни взрослой жизни. У Эрнста Неизвестного эта энергия не только не иссякла, но многократно возрасла. Целая глава книги посвящена войне и теме смерти. Мы узнаем в ней, что Эрнст Неизвестный был дважды принят за мертвого — брошен на поле сражения в 1945 году и затем, в больнице, почти оказался в морге и только чудом оба раза был спасен. "Я верю в Бога, — говорит Неизвестный, — такие вещи не могут быть названы случайностью".

Следующие главы повествуют о сложной жизни Неизвестного как студента и начинающего скульптора. Многое уже известно читателю по большому количеству статей западных журналистов и критиков и по воспоминаниям самого Эрнста Неизвестного. Но Эрик Эгеланд дает дополнительные сведения, указывает фамилии, передает диалоги и воссоздает атмосферу, царившую как в художественных, так и в правительственных кругах того времени. На англоязычного читателя жизнь Эрнста Неизвестного должна про-

известии впечатление приключенческого романа, где каждая глава полна неожиданных происшествий, непредугаданных опасностей и чудесных спасений. "Дворцовые" интриги, борьба партийных группировок, всевозможные бюрократические преграды и запреты, ловкость, находчивость и смелость в преодолении их скульптором — все читается с захватывающим интересом.

Однако, интеллектуальное и духовное развитие Эрнста Неизвестного составляют ядро всей книги. Большую роль играют тут его соприкосновения с религиозными реальностями и мистические переживания. Так, например, на странице 72-й мы читаем следующее: "Как-то ночью я видел сон, — говорит Эрнст Неизвестный. — Словесное его описание звучит банально, но я увидел над собой купол, возведенный над миром. Я стоял в центре, смотря на звезды. Внезапно они превратились в глаза. Я вижу их и слышу голос, но не снаружи, а исходящий из меня. Не знаю, должен ли я повторить, что он сказал, так как это было скорее ощущение, чем что-либо другое. Вот оно: "Мы знаем тебя. Мы тебя видим. Ты — не один". Все эти глаза излучали свет, и я почувствовал, что моя голова выросла до громадных размеров, в то время как тело оставалось малым. Меня охватил экстаз, трудно поддающийся описанию — это было чувство бесконечной любви, радости и успокоения".

Этому сну предшествовал тяжелый период в жизни скульптора — политический остракизм, вызванный подозрением в симпатиях к Венгерской революции 1956 года. Неизвестный был на грани алкоголизма. Но этот сон и последовавшее за ним видение "Древа Жизни" вернули ему творческую энергию. Интересно сравнить это мистическое переживание с тем, что произошло с молодым философом Владимиром Соловьевым почти столетие тому назад — откровение Вечной Женственности и чувство божественности мира, "бесконечно сладкое и светлое ощущение", по его словам. Можно, конечно, оспаривать сопоставление религиозного философа с современным скульптором, но параллели все же напрашиваются — та же страстность натуры, то же стремление к духовному синтезу.

Отрадно, что Эрик Эгеланд, говоря о произведениях Эрнста Неизвестного, избегает профессионально-художественного жаргона, всяких "напряжений", "столкновений"

и "энергий". Зато он широко цитирует высказывания скульптора на самые разнообразные темы — от анализа образов Достоевского (в связи с иллюстрациями к его книгам) до мыслей об искусстве, религиозной символической, мировой литературе, философии, истории и о современной советской и западной действительности. И, со своей стороны, Эгеланд с большим чувством истории и обширными знаниями в области современного искусства, определяет место, занимаемое в нем Эрнстом Неизвестным. Он видит в его творчестве вызов западному плюрализму и восточному тоталитаризму.

"Запад выработал иммунитет к тоталитарным аспектам католичества за время Возрождения и Реформации, — пишет Эгеланд. — Эта "вакцина" еще более окрепла в эпоху Просвещения и затем с приходом либерализма и индустриализма. Однако, потребность в универсальном представлении о мире не могла быть уничтожена. Она возродилась в Романтизме, но вскоре привела к духовному империализму двух тоталитарных идеологий нашего времени. Во вторую мировую войну гуманистический Запад в борьбе с одной из них, объединился с другой. Западная свобода живет, но подвергается все растущему давлению со стороны материалистических запросов нашего времени. Конфликт в области искусства, где все стало позволено, выражается в художественном плюрализме сегодняшнего дня. На фоне всего этого Эрнст Неизвестный дерзает выступить с искусством, основанным на метафизическом синтезе. Он черпает силы в потоке идей, которые утеряны были в эволюционном процессе, в конце концов приведшем к тому положению, в котором мы сейчас находимся, на Западе и на Востоке.

Эрнст Неизвестный солидарен с наукой, ее духом и ее техникой. Он оправдывает ее функции, но Человек остается для него центром всего. "Древо жизни" посвящено Вечному человеку, Человеку Библии, Человеку Данте, и в то же время — Человеку современности. В пересечении этих сил рождается Вечная и Современная Правда".

Естественно возникает вопрос, возможно ли построение "Древа Жизни"? Конечно — да. Интерес к "Древу Жизни" растет, особенно среди американской молодежи. Эрнст Неизвестный многократно выступал с лекциями в американских университетах и объяснял систему и символику "Древа Жизни". Американцам свойственно мыслить в больших масштабах, и идеи Эрнста Неизвестного находят

отклик в их сердцах. Конечно, твердо выраженная духовность может показаться кое-кому слишком интимной и нагой. (Телесная нагота, с другой стороны, почти утратила свою интимность и тайну.) Не без горечи следует заметить, что, будь в "Древе Жизни" вместо символов веры и знания запланированы столь знакомые современному миру гимнастические залы, салоны красоты и клиники омоложения, а в семи корнях-туннелях — соответствующие семи смертным грехам заведения, возможность заручиться капиталом значительно возросла бы. Но то было бы уже иное Древо, храм Сатаны.

Все же, в Америке наблюдается за последнее время заметный поворот к так называемым "старым" (т. е. вечным) ценностям. Радикальная молодежь, еще недавно проповедовавшая материалистический либерализм, во многом отказывается от него. Экономика, социальный и технический прогресс не расцениваются как единственные силы, способные обеспечить человечеству счастливое будущее. Необходимы духовные усилия. "Древо Жизни" — плод и символ этих сил. Тот факт, что нашелся человек, провозгласивший в наше время идею духовного синтеза и образно представивший ее в скульптуре, живописи и графике — явление исключительное.

"Искусство Эрнста Неизвестного представляет собой наилучшее средство коммуникации, потому что оно раскрывает в человеке качества и силы, которые объединяют его с другим человеком, обнаруживая общность людей всех рас, стран и образов гуманистического мышления", — пишет Хаим Гамзу, директор тель-авивского музея. А критик газеты "Нью-Йорк таймс" Джон Рассель называет монографию Эрика Эгеланда достойной Эрнста Неизвестного.

*Сергей Голлербах*



## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

**Г о л л е р б а х** Сергей, род. в 1923 г. в Пушкине, бывшем Царском Селе. Русский художник, живописец и график. С 1949 г. живет в США. Преподает в нью-йоркской художественной Академии. Он завоевал известность и прочное место в американских и европейских музеях искусства. С. Голлербах участвовал в многочисленных выставках на разных континентах, где неоднократно награждался медалями (в том числе и золотыми). Автор книги "Заметки художника" (Изд. Оверсиз, 1983 г.) и многочисленных статей в рускоязычной зарубежной прессе.

**К о р ж и н с к и й** Андрей Львович, род. в 1948 г. в Ленинграде. Учился на историческом факультете Ленинградского университета. Специализировался по кафедре древней Греции и Рима. Одна из его статей была напечатана в сборнике "Античный мир и археология" (1979). Служил в армии, работал старшим лаборантом. В 1980—82 гг. работал на заводе. С 1982 г. — невозвращенец. Живет в Швеции.

**К о р м е р** Владимир Федорович, род. в 1939 г. в Красноярском крае. Родители москвичи, но отец после лагерного заключения вынужден был остаться в Сибири...

В 60-е годы Кормер закончил Московский инженерно-физический институт. Работал в нескольких математических учреждениях, а позже — до 1980 года вел иностранный отдел журнала "Вопросы философии".

В 1979 году его роман "Крот истории" получил в Париже премию Даля и был издан в ИМКА-Пресс. Фрагменты из романа "Хроника случайного семейства" опубликованы в альманахе "Каталог" (Ардис, 1982). Роман "Наследство" широко распространился в Самиздате еще в середине 70-х гг. Последние шесть лет Владимир Кормер работает подсобником у московских скульпторов...

**Краснов Владислав Георгиевич**, род. в 1937 г., закончил истфак МГУ. Работал редактором вещания на заграницу Московского радио. Бежал в Швецию в 1962 году. В настоящее время — профессор и глава русского отдела Монтерейского Института Международных Отношений. Автор ряда статей в эмигрантских журналах и двух книг: *Solzhenitsyn and Dostoevsky: A Study in the Poliphonic Novel* (Univ. of Georgia Press, 1980), and *Soviet Defectors: The KGB Wanted List* (Hoover Institution Press, 1986).

**Кублановский Юрий Михайлович**, род. в 1947 г. в Рыбинске, окончил искусствоведческое отделение истфака Московского университета. После того, как в 1976 году в зарубежной прессе было опубликовано его открытое письмо "Ко всем нам" (к двухлетию высылки Солженицына), работал сторожем в подмосковном храме и на Антиохийском подворье.

Его стихи печатались в альманахе "Метрополь", в "Гранях", в "Вестнике РХД", в "Глаголе" и "Континенте". Автор двух поэтических книг: "Избранное" ("Ардис", 1981) и "С последним солнцем" (La Press Libre, 1983). В "Гранях" № 128 напечатан его этюд "Ферапонтово".

**Седакова Ольга**, род. в 1949 г. Один из известнейших авторов Самиздата. Ее стихи неоднократно публиковались в "Вестнике РХД". Сборник Седаковой вышел в ИМКА-Пресс в 1986 г. Интересные соображения о ее творчестве высказал советский литературовед М. Эпштейн в журнале "Вопросы литературы" (№ 5, 1986). Со взглядами поэтессы на проблемы современной культуры знакомит ее эссе "О Бронзовом веке" ("Грани", № 130).

**Фельштинский Юрий Георгиевич**, род. в 1956 г. в Москве. В 1978 г. эмигрировал в США. Изучал историю в Брандайском университете на кафедре Сравнительной истории. В настоящее время аспирант докторской программы Ратгерского университета. Специализируется по русской истории 1917—45 гг., новейшей истории дипломатии и проблемам социализма. Автор ряда публикаций, статей, книг.

**Хейфец Михаил** — родился в 1934 год. в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт имени

Герцена. Автор нескольких книг и статей по истории революционного движения в России. В апреле 1974 года был арестован за публикацию в самиздате предисловия к собранию сочинений Иосифа Бродского. Приговорен к четырем годам заключения с последующей двухгодичной ссылкой. Отбыл полный срок, эмигрировал. Живет в Израиле. Печатался во многих русскоязычных изданиях.



## КНИГИ НА РЕЦЕНЗИИ

**А в т о р х а н о в** А. Дела и дни Кремля. От Андропова к Горбачеву. — Париж: ИМКА-Пресс, 1986. 350 с.

**А к с е н о в** Василий. Поиски жанра. — Франкфурт-на-Майне: "Посев", 1986. 190 с.

**Д а в а т ц** В. Х. **Л ь в о в** Н. Н. Русская армия на чужбине. Репринт (Белград: Русское изд., 1923). — Нью-Йорк: "Посев"/США, 1985. 123 с.

**Е в д о к и м о в** Ростислав. Стихи. Сост. Светлана Евдокимова. Франкфурт-на-Майне: "Посев", 1986. 136 с.

**З а ч е й с ч е т ?** Сборник полемических статей. Михаил Агурский, Владимир Буковский, Наум Коржавин, Юрий Мальцев, Анна Тамарченко, Юрий Фельштинский, Дора Штурман. Редактор-составитель Юрий Фельштинский. — Анн Арбор: Эрмитаж, 1986. 189 с.

**З е м ц о в** Илья. Частная жизнь советской элиты. Предисловие Менахема Амира. — Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1986. 210 с.

**З и г а б е н** Евфимий. Толковая Псалтирь. Переиздание. В память 1000-летия Крещения Руси. — Монреаль: Изд. Монреальской и Канадской Епархии Русской Православной Церкви за границей, 1986. 1162 с. (больш. формат).

**И о а н н**, схиигумен. Письма Валаамского старца. Перепечатано из журнала "Вечное" за 1961 г. — Хельсинки: Общество "Друзья Валаама", 1984. 105 с.

**К а с а с к** Wolfgang. Lexikon der russischen Literatur ab 1917. Ergänzungsband. — München: Verlag Otto Sagner, 1986. 228 S. (Arbeiten u. Texte zur Slavistik. 38.)

**К а н д е л ь** Феликс. На ночь глядя. Роман. — Франкфурт-на-Майне: "Посев" 1985. 336 с.

**К р е й д** Вадим. Восьмигранник. Стихи. Предисловие Саши Соколова. — Нью-Йорк: Effect, 1986. 90 с.

**Н е з н а н с к и й** Фридрих. Операция "Фауст". (Детектив.) — Франкфурт-на-Майне: "Посев", 1986. 310 с.

**П а в е л**, архиепископ (Финляндский). Как мы веруем. Предисловие прот. Александра Шмемана. — Париж: ИМКА-Пресс, 1986. 140 с.

**П о м е р а н ц е в** Кирилл. Сквозь смерть. Воспоминания. Вступительная статья Бориса Филиппова. (Вчера, сегодня, завтра. 5.) — Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd., 1986. 194 с.

**Р а т у ш и н с к а я** Ирина. Вне лимита. Избранное. Составитель и автор послесловия Юрий Кублановский. Франкфурт-на-Майне: "Посев" 1986. 136 с.

**С в е т о в** Феликс. Опыт биографии. — Париж: ИМКА-Пресс, 1985. 438 с.

**С о л ь** земли, то есть Сказание о жизни Старца Гесиманского Скита иеромонаха Аввы Исидора, собранное и по порядку изложенное недостойным сыном его духовным Павлом Флоренским. Репринт. — Платина/США: Монастырь св. Германа Аляскинского, 1984. 103 с.

**С т о л ы п и н** А. Н. На службе России. Очерки по истории НТС. — Франкфурт-на-Майне: "Посев", 1986. 303 с.

**Ф л о р е н с к и й** Павел, свящ. Собрание сочинений. Т. I. Статьи по искусству. Под общей редакцией Н. А. Струве. — Париж ИМКА-Пресс, 1985. 400 с.

**Ц в е т к о в** Е. П. Творческие работники. — Тель-Авив: Т. Р. Tsvetkov, 1984. 540 с.

**Ш м е м а н** А/лександр) прот. Исторический путь Православия. — Париж: ИМКА-Пресс 1985. 389 с.

**Главный редактор  
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80  
Тел. (069) 34 46 71

*Непринятые рукописи не возвращаются.*

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

### От издательства

*Журнал "Грани" с № 131 по № 140 редактировал Г.Н. Владимов. Мы благодарим его за проделанную работу. Причины, объясняющие прекращение сотрудничества с ним изложены нами в № 140 журнала.*

*По нашей просьбе Екатерина Алексеевна Брейтбарт-Самсонова согласилась принять на себя обязанности главного редактора журнала "Грани". Мы благодарны ей за ее согласие, желаем успеха и уверены, что журнал будет полностью отвечать своей задаче — быть журналом для России.*

*Издательство "Посев"*

**А. П. Столыпин**

**НА СЛУЖБЕ РОССИИ**

Известный публицист, сын премьер-министра П. А. Столыпина, А. П. Столыпин написал интересную книгу. Это – мемуарные очерки о жизни эмиграции, о России, о интересных людях – политических и общественных деятелях. Книга эта и о зарождении НТС как национально-патриотического объединения молодежи в условиях российского Зарубежья, о развитии НТС, его деятельности, направленной на поддержку освободительной борьбы в России. Полувековой путь НТС – уникальное, уже по своей «долгожительности», явление для политической эмиграции вообще, российской в частности.

В хорошо документированной книге автор живым языком ведет рассказ о малоизвестной в России частичке ее истории.

1986

304 с.

33 нм

**Ирина Ратушинская**

# **Вне лимита**

*Избранное*

Ирина Ратушинская, – сильный и самобытный поэт, наследующий лучшим традициям российской поэзии. Однако большинство ее стихов до настоящего времени было рассеяно по страницам эмигрантской периодики и не собрано с должной полнотой под одной обложкой...

Выпускаемый здесь сборник «Вне лимита» – наиболее объемное на сей день собрание избранных произведений поэта, вошедшее и ее лирику, написанную до ареста и в заключении.

Сборник снабжен подробным биографическим комментарием.

Составитель и автор послесловия Ю. М. Кублановский.

1986

144 с.

22 н.м.

# **Ростислав ЕВДОКИМОВ**

## ***Стихи***

Первый сборник лирики поэта, отбывающего срок в Мордовском политическом лагере. Многожанровое творчество Евдокимова, таким образом, драматично «откомментировано» его героической судьбой, которую – по меткому выражению Мандельштама – «нельзя исключать из ряда творческих достижений» любого подлинного поэта.

1986

192 с.

18 н. м.



# Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:  
в издательстве — 60 н.м.  
через магазины — 70 н.м.

## ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:  
в издательстве — 72 н.м.  
через посредников — 84 н.м.

## «НАДЕЖДА»

**Христианское чтение**

За 3 выпуска при подписке:  
непосредственно в издательстве — 60 н.м.  
через представителей — 72 н.м.

**СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:**  
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.  
НАДЕЖДА“ — 24 н. м.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

**POSSEV-VERLAG**

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15  
или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main  
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.